

Павел Катаев

---

# *Футбольное поле в лесу*

---

Рок-проза

---



Павел Катаев

**Футбольное поле в лесу. Рок-проза**

«Издательские решения»

**Катаев П. В.**

Футбольное поле в лесу. Рок-проза / П. В. Катаев —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833947-9

Красавицы, моряки, писатели, лилипуты, стукачи, снежный человек — таковы персонажи этой книги, которую автор видит как роман из современной жизни глазами своего лирического героя...

ISBN 978-5-44-833947-9

© Катаев П. В.  
© Издательские решения

## Содержание

«О Рок-Прозе Павла Катаева»	6
Часть первая. Футбольное поле в лесу	8
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# **Футбольное поле в лесу**

## **Рок-проза**

**Павел Валентинович Катаев**

© Павел Валентинович Катаев, 2017

ISBN 978-5-4483-3947-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## «О Рок-Прозе Павла Катаева»

Привожу отзыв Семена Израилевича Липкина на рукопись этой моей книги «Футбольное поле в лесу» до того, как я поменял ее первоначальное название – «Один в океане». А поменял я название, когда узнал, что существует книга другого автора с таким же названием.

Итак...

«Рок-проза Павла Катаева «Один в океане» начинается отлично написанными стихами. Стихи ненавязчиво, но ярко звучат еще в нескольких местах этого талантливого произведения, созданного с тщательной любовью к каждому слову. «Любителям острых сюжетов не найти здесь ничего привлекательного для себя» – почти в самом начале повествования предупреждает автор. На самом деле сама мысль материализующаяся, создающая персонажи рок-прозы остросюжетна, ибо что может остросюжетней человеческих судеб. Но оказывается, автор это прекрасно знает, – почти в конце повествования он нам говорит: « ибо настоящая книга (сия книга) в первую очередь приключенческая». А возможно, сам Павел Катаев поначалу о своей книге этого и не знал. И только пройдя по суше и по океану вместе с читателем, незаметно, искусно воплощаясь то в одного, то в другого героя, понял вместе с читателем приключенческую сущность своей книги. Так я думаю потому, что автор с бесстрашием истинного писателя сразу открывает нам, читателям, все свои художественные приемы. Например: «Книга эта с параллельными местами, слева помещается кусок реальный, а с правой не реальный, плод воображения героя». Но это высказывание Павел Катаев углубляет, говоря: «Писатель есть прибор в виде датчика, сунутый в самую сердцевину жизни, в её плоть». А если это так, то ничего не может быть четко разграниченным налево и направо. Вольно и ритмично идет поток сознания с островами твердой реалистической почвы. Один из этих островов – короткая, но емкая и пронзительная новелла об одинокой деревенской старухе, ненавидящей Город, отобравший у неё и сына и саму Деревню. Трагическая судьба старухи дана нам глазами одного из главных персонажей – Сергеем Попруженко, захлебывающегося в Океане. А сложная, как внешняя, так и внутренняя жизнь Попруженко в свою очередь подробно показана глазами автора, и уже трудно отличить, где герой эпический, а где лирический. И это – художественная задача, а возможно, художественная удача писателя- датчика. Ибо сам датчик питается не одним лишь интеллектом, но и тонкой, вибрирующей интуицией. Именно интуиция, как мне кажется, подсказала автору определить свое место жительства ни в городе и ни в деревне, а между ними – в глубине подмосковного леса, неподалеку от футбольного поля, где он в детстве вместе с некоторыми своим персонажами гонял мяч. Это промежуточное пребывание меж городом и деревней, меж берегом и океаном, как бы подчеркивает то, что автор ничему не отдает предпочтение: «Вся природа – без чинов – едина, и нет разницы между высокоразвитой материей и гнилушкой. Все – жизнь. Все – праздник». На этом трагическом празднике первое лицо быстро переходит в третье и во второе, потому что все -едино. И не случайно автор дважды обмолвился: « У тебя есть редкая способность смотреть на себя со стороны, как на других изнутри» и «войдя в себя, в тебя проник». Это относится, как к персонажам, так и к окружающей природе, к лесу и океану. И к нам – читателям. Проникновение в другую душу не только не грубое, а крайне деликатное. Определив себе глубокое, но промежуточное местоположение, писатель-датчик никогда и ничего категорически не утверждает. А если и появляется такой соблазн, то тут же автором и опровергается. И это качество лирического героя подтверждается походя брошенной фразой: «Не можете ответить. И никто не может.» На одной из страниц книги духовная позиция автора налагает осторожный запрет на вопрос человека человеку – веруешь ли? Ибо если веруешь, то веруешь. А если нет, то не стоит твоим ответом укреплять тебя в твоём неверии. Так думает лирический герой, понимая, что слово имеет способность материализовываться. Да и как не знать этого автору, если с помощью

точного слова он дает нам зрительное представление мира, полного всевозможных деталей – от кожи океанского чудовища до веснушчатой кожи героя и сморщенной кожи его башмака. Овеществлено в рок-прозе и время. «По внешним приметам легко угадывается время» – подсказывает нам автор. Но в этой беглой подсказке таится и другое – события, происходящие в книге, могли бы происходить в любое время. И в этом сила произведения, хотя текущее время вычитывается точно – от послевоенных дней до почти сегодняшних. Но и оно, текущее, – «словно накладываются два изображения на один кадр», обладает «двойным звуком шагов». Но если время овеществлено, то любовь дается автором как символ. Этим символом любви и женской красоты является Мисс-Мир, находящаяся в доме умалишенных. Красота её не только внешняя – Мисс-Мир отказывается принимать пищу, она душевно страдает за всех голодных, за всех униженных и оскорбленных – от России до Африки. Антиподом служит её ближайшая подруга, плотски похотливая, живущая одновременно и с мужем Мисс-Мир и с её доктором, и еще со многими. И трудно провести черту между похотливой подругой Мисс-Мир и портовыми шлюхами на берегу Океана. Да автор и не проводит этой черты, а говорит: «ведь любовь и нелюбовь соседствуют...» Но любовь мужчины и женщины – один из нескольких мотивов вещи Павла Катаева, как, например, мотив гостей и хозяев, проходящий через всю книгу. Сама слово «мотив» упоминаем, следуя авторской мысли: «звук несет в себе неизмеримо больше, чем содержит в себе его графическое изображение». Эту фразу легко применить к рок-прозе, исполненной с виртуозным чувством музыки слова. И как ни притягательно высказывание лирического героя, что «Совместная невозможность достижения чего-то сближает гораздо сильнее, чем совместное обладание чем-то», хочется заключить: совместное с автором обладание «Рок-прозой» для читателя – радость. Читатель не «Один в Океане», а с автором и его многими героями».

## Часть первая. Футбольное поле в лесу

*...Я существую в твоём воображении,  
а воображение твоё есть часть природы, значит, я существую  
и в природе.*

*А.П.Чехов. Чёрный монах*

Нас мало, нас, может быть, двое. Дождливая осень опять. И в этом унылом покое мы силится что-то понять. В листьях не известной породы, в деревьях с намокшей корой, под обликом мертвой природы нам облик открылся другой. Нас много, нас пять миллиардов – людей, насекомых, зверья. По барду – на пять леопардов, по барду на тьму комарья. Клубится в осенней капели земли остывающей дым, и солнце сквозь чёрные ели пылает огнём золотым.

Ту, что поменьше, я сразу же окрестил негретенком.

Чёрные вельветовые брючки её обтягивали. И того же цвета вельветовая жилетка плотно облегла её спину и тонкую талию. А вот блузка у неё была яркая, лимонно-жёлтая, с широкими стянутыми у запястья рукавами и пышным жабо.

Она уверенно ступала длинными своими ногами, как бы бросая вызов высоким и тонким каблучкам. Вот, мол, хоть вы такие неудобные и мне приходится чуть-чуть косолапить, но я вами владею, как хочу.

Костюмчик она все-таки сама построила, да и шпильки были слишком уж чрезвычайными и полномочными представителями моды, как говорится, большими католиками, чем Папа Римский. Изваяли их умельцы в крае, что расположен несколько севернее турецкой горы Арарат.

Чуть-чуть чумазенькая она была поверх загара.

Две половинки земного шара под немного выкрошившимся вельветом упруго вздрагивали при ходьбе. Я подробности отмечал равнодушно, как холодный сапожник. Вздрагивают – и вздрагивают.

Эта разделась немедленно, без проблем.

Все, как я и предвидел, – темный загар, яркая, точно белилами намазанная тоненькая полоска от лифчика бикини, мутнеющая к подмышкам. Ноги стройные, спортивные, с развитыми икрами. Прелесть. Штанишки шелковые, белесо голубые, немного втянулись в Берингов пролив, и мерцала полоска льдов, не подвергшихся воздействию южного солнца.

Штанишки пятном знойного вчерашнего неба светились в сегодняшнем мраке и холоде промозглого утра.

А вот её дуэнья – ни в какую!

Она согласилась лишь скинуть грязно-розовый прорезиненный плащ с расплывшимися олимпийскими кольцами, густо покрывающими её мутную поверхность.

Открылась глухая кирпичной кладки стена. Дом достраивался несколько раз, сорт кирпича был разный, и качество кладки также было разное – внизу кирпич уложен ровно и красиво. Каждый кирпичик окружен жёлтой полоской. А уж выше – кое-как, сикось-накось. Окон в стене не было, все они, вероятно, выходили с фасада.

Я обогнал их и, сделав несколько шагов, оглянулся.

Молниеносного взгляда было довольно, чтобы во всем разобраться.

Лучезарные, чуть косоватые и до наглости смелые окна негретенка ярко светились. Занавесок не было, и виднелась выложенная голубым кафелем ванная комната. А вот окна дуэньи под эллипсоидными стеклами тонких металлических очков были мертвы и скрывали за собой нищий сон трущобы.

Из этого дома происходила Катюшка.

Что же касается Кирюшки, то она происходила из дома негритенка.

...Школьные картинки: каток, посещение театра имени Ермоловой и некоторых других и так далее.

Несколько минут длился фильм о том, как Катя стирает свое девичье белишко ночью в коммунальной кухне. Корыто стоит на хромом табурете. Чуть замечтаешься – мыльная вода перекачивается к противоположному краю, корыто наклоняется, и кусок воды плюхается на покатый дощатый пол с широки ми мрачными щелями.

Вот у Киры, Кирюшки, отдельная ванная, горячая и холодная вода, стирать легко и приятно: голубой кафель, порошки и шампуни, яркая матовая лампочка торчит из стены под потолком.

Вода откатывается назад, корыто выравнивается, и начинается второй заход – снова корыто наклоняется, тревожно движется по полу серая тень, и еще одна порция, поменьше, правда, плюхается на доски. Брызги летят в облезшую стенку и в голые Катины щиколотки.

Лампочка слабого накала на длинном закопченном шнуре.

На этом фильме Катя отдыхает душой, внутри даже возникает ощущение надвигающихся слез.

У Кати – великолепная память на все.

Последние два с лишним года не прекращается бесконечный кинофильм, состоящий из эпизодов Катинной жизни, случившихся в разное время – и в раннем детстве, и в школьные годы, и в последние месяцы, предшествующие лечебнице.

Особенно часто повторялась короткая, длящаяся не более получаса картина: залитые водой поля, деревеньки, плотные курчавые пласты лесных зарослей, утреннее солнце, отраженное квадратным зеркальцем поля, и потом – густой черный дым и прозрачное пламя. Это было как неправда, и в ночном баре одного из городов Таиланда, а может быть, и в Сиднее, какой-то пожилой господин во фраке и кружевной манишке уверял ее, что это таки неправда. Он сам однажды тоже летел на бомбардировщике, и сверху следы пожаров и разрушений не такие грозные, как рассказывает мисс Катя.

– Мангровые заросли – это действительно! – Задумчиво стряхнув нагоревший пепел в желтую фаянсовую пепельницу, всеми четырьмя крепостными стенами своими рекламирующую мартини, господин грустно улыбнулся. – Впечатление, словно голый мелкий народец разбрелся по полям и остановился согбенный. А это и не люди – корявые деревца торчат...

– Нет-нет! Так было! Я отлично помню!

Пожилый во фраке в обморочном состоянии рухнул на стойку, пролил джин-тоник из высокого стакана. Стакан докатился до мраморного края и с высоты упал на медную трубу-подножку, но не разбился.

Это был шок от Катинной резкости!

Короткая передышка – и страшный пустой длинный коридор.

В конце коридора – окно, закрытое снаружи ставней и превратившееся в черное зеркало, отражающее высокие дореволюционной постройки двери, резную полку-вешалку с маской верх ней одежды, темный, без деталей фикус в кадучке и рядом с ним – темную фигурку девушки с каштановыми волосами, мягкими даже по виду. Впрочем, это не отражается, что они каштановые и мягкие. Просто – темные, а какого цвета – неизвестно.

«Неужели это я?» – думает Катя.

Тогда она так думала, и теперь эта мысль сопровождает воспоминание, как звуковое оформление фильма.

Ох, как слабо освещен этот страшный коридор! Он еще более темен в отражении, просто мрак! Но как же с той красноватой кровавой щелочкой воровато пробивающегося света из ванной комнаты? Да, кстати, где это было? Рига? Одесса? Алма-Ата? Оренбург? И тогда

Катя именно эти города перечисляла в своем уме. Она легко и бесшумно подобралась к двери и дернула старинную бронзовую ручку.

Крючок слабо держался. Длинный шуруп выехал из отверстия в деревянной раме двери, труха посыпалась тоненькой стружкой, дверь открылась. У Кати в глазах потемнело. Перед ней, нос к носу, стоял в белой, вылезшей из брюк рубашке ее муж Миша и притворялся ужасно пьяным. Он был пьяный, но и притворялся пьяным.

«Зачем?»

– Что ты здесь делаешь?

– Я? Блюю.

– Зачем же было запирается?

– Да? Зачем? Чтоб каждый видел?

«Нет, тебя не тошнит, ты врешь! Врешь!»

Но Катя этого вслух не прокричала, только внутри себя, повернулась и стремительно зашагала по коридору к дверям комнаты, где шел пир. Стол был сдвинут, горел торшер под непрозрачным абажуром, сшитым точно из ватного одеяла, и все целовались в розовом свете и в темных углах. А Киры не было!

Но она через очень короткое время вошла, с размазанными губами, с черными потеками под глазами, помятая. И все-все- все было ясно. Все было ясно! И Миша припелся, пьяно покачиваясь, но он сразу же подошел к столу и выпил фужер коньяку, уже давно налитый и стоящий среди консервов и окурков рядом с чешуйчатой верхушкой ананаса с зелеными жесткими листочками. Кира – высокая, дебая, розовая пастила, с бело розовыми волосами – блестела серыми глазами в крапинку и с четкими зрачками и слабо смеялась своим глубоким добрым смехом.

Ах, назад, фильм, назад! Обратный ход событиям!

Снова коридор, снова дверь и снова не пускающий Миша, но не отступать, вперед, в ванную комнату с тусклой черной газовой колонкой, с тоненьким краником над детским малюсеньким умывальником, и там увидеть Киру. Какая она была там, в тот трогательный момент? О, я знаю, знаю, какая она была, точно знаю, но нужно было войти и увидеть. Ворваться и увидеть! У-ви-деть!

Увидеть.

Копенгагенский аэропорт с как бы игрушечными нейлоновыми пассажирами-иностранцами и их нейлоновыми ребятишками, с выставкой транзисторов в стеклянных коробках-витринах, длинный покатый коридор со стеклянными стенами и за ними – бетонные шестиугольные плиты, самолеты, заправщики и прочее аэродромное оборудование, и так далее: картины жизни, встреч, свадеб.

Фильм о Мише шел отдельно, рядом с обычным фильмом.

Иногда они соприкасались и сливались, как, например, в случае с ванной комнатой в особняке знакомых (будь они на веки прокляты!), где все и произошло.

Миша и Кира – отрицают, впрочем, я их и не спрашивала. Гордость, гордость! Лучше бы спросить. Но не спрашивается! Да они бы и не сказали правду!

Эго был ненастоящий сумасшедший дом. Здесь больных лечили и – в конце концов – все-таки вылечивали рано или поздно. Катя тоже вылечивалась, но очень медленно, незаметно. Во всяком случае, за все время ее пребывания здесь в течение двух с лишним лет врачи ничего утешительного не могли сказать. Катя погибала: отказывалась есть, и пищу ей вводили через зонд. Мучительная процедура! Остальные больные, их было более сотни, напротив, устроили из своей болезни обжираловку. Только еда их и заботила. Просили, требовали добавку к официальной еде да плюс к этому пожирала передачи с воли. Так что больных чуть ли ни кнутом приходилось гонять на прогулки, чтобы они не погибли от ожирения сердца.

Катя ничего не ела и из своего просторного светлого бокса никогда не выходила. Подойдет иногда к окну, посмотрит на сельский пейзаж, на леса, перелески, пашни и горестно вздох нет:

- Зачем вы меня так далеко завезли!
- Как же далеко, деточка! Десять минут на электричке.
- Все равно – край света!
- Погоди, поправишься – опять дома заживешь.
- Глупости, я не больна!

Катя снова опускалась на табуретку, скорбно склонив свою красивую головку, слабые, немислимой красоты руки ложились крест-накрест на прелестные колени.

Вся она была – воплощение человеческой красоты.

И даже лицо, бледное, истощенное, впрочем – свежее, оставалось прекрасным, хотя и горестным. Тучная тетя Клава опускалась перед ней на колени, брала ее кисти в свои потрескавшиеся от уборки и стирки ладони и, по очереди целуя каждый пальчик, приговаривала:

– Милая моя доченька, славная моя красавица. Не печалься. Улыбнись. Дай старухе порадоваться.

Катя не слышала, поглощенная созерцанием картин прошлого, далекого и недалекого.

Муж Миша ее ни разу не навестил.

Ее спрашивали:

- Хочешь, Миша придет?
- Миша? Все равно.
- Да ты не стесняйся, честно скажи, дело-то молодое...
- Честно! Я и так честно – мне действительно все равно.
- Раз все равно, так и нечего мне идти! – радовался Миша, потирая руки.

Миша. А то Катя и так не видела его каждый день по многу раз!

Но в том-то и беда. Одно приятное воспоминание о том, как они устраиваются спать в какой-то чудесной гостинице во время свадебного путешествия, они вдвоем, муж и жена, совсем одни в таинственном и самостоятельном номере с высокими потолками и ковром, так вот – это приятное, потрясающее душу воспоминание сразу же перечеркивается тем мрачным коридором с кровавой шелкой под дверью и – с Кирой. Ох!

Только-только возникнет щемящее простое воспоминание – их утренняя квартирка на восьмом этаже, зимнее солнце, Миша в вязаной кофте за столом рисует, окуная перо в пузырек с черной тушью, и тут – опять этот коридор или фужер с коньяком возле ананаса с его зеленым хвостом – стабилизатором.

Охо-хо!

Кира иногда посещала. Она – настоящая подруга, готова каждый день навещать, но Катя – не всегда пускала. Обменивались подруги записками.

«Дорогая Катюша! Я внизу, можно подняться? Ответь, пожалуйста! Крепко-крепко тебя целую, твоя подружка Кирюша».

«Спасибо, родная, за внимание. Не поднимайся! Целую, твоя Катюша».

Апельсины, яблоки, грейпфруты отправлялись назад. Она ведь ничего не ела, голодала, могла погибнуть от истощения.

Частенько ее навещал начальник больницы, не реже раза в неделю. Он заводил разговор о самочувствии, о болезни и не уходил до тех пор, пока не измерит температуру. Та всегда была не выше тридцати шести ровно, то есть говорила об упадке сил.

Катя взглядывала на начальника, стоящего, как правило, у окна, против света, вполоборота к девушке.

- Зачем вы меня сюда завезли? Зачем!
- Надо, надо. Стационарное лечение.

– Я вовсе не больна!

– Ну, конечно, вы здоровы, это всему свету ясно. Но что делать – вы же не принимаете пищу.

– Мне не хочется!

– То-то и оно, что не хочется. Мало, что кому не хочется! Может, вы чем недовольны? Может, обслуга неважная, а?

– Нет-нет, что вы! Всем буквально довольна.

– Может, домой хотите? Вы только шепните, а уж за нами дело не станет.

– Домой? Нет, пожалуй, домой не хочу. Пожалуй, здесь лучше.

Катюшка и сама толком не знала, что она хочет. Лично она ничего не хочет, разве что дышать – об этом она не задумывается. А остальное? Неизвестно.

Что хочет облако, проплывающее по небесным просторам?

Что собака хочет, перебегая через асфальтовую дорожку из одних зарослей в другие?

Что хотят стада самолетов, снующих мимо окон?

Катюшка была и облачком, и собакой, и каждым в отдельности самолетом. Катюшка даже, как ей казалось, покрывалась морозным инеем, когда авиационная судьба загоняла ее в десяти километровое поднебесье.

Однажды она попросила начальника распорядиться кормить ее пустыми зондами.

– Как же, помилуйте, пустыми! Да ведь это хорошо не кончится...

Начальник с трудом доплелся на ватных ногах до кабинета, заперся и, обливаясь потом, залез под стол. Оттуда раздавалось некоторое время хлюпанье: «Хлюи-хлюп!»

Вот вам и пустой зонд!

Дело-то международное, общечеловеческое, все земное, сам мистер Т., пользуясь особым статусом, неожиданно, однако не реже одного раза в месяц, прилетает в лечебницу из своей штаб – квартиры в Нью-Йорке. К Кате не всегда заходит, но тщательно изучает отчеты начальника больницы о посещениях обитательницы отдельного светлого хорошо проветриваемого бокса номер сто восемнадцать. Запомнили? Сто восемнадцать. Аминь.

Выбравшись из-под стола, начальник достал из сейфа большую книгу, состоящую из разлинованных страниц, и записал крупным почерком весь свой разговор с Катюшей. На аккуратном прямоугольнике белой бумаги, приклеенном к обложке, синим карандашом печатными буквами было написано МИСС МИРА. Буква «А» перечеркнута лиловыми чернилами, так что следовало читать – МИСС МИР.

За два с лишним года по четырем сторонам бумажки проступили от клея коричневые пятна, да четче просвечивала типографская надпись: АМБАРНАЯ КНИГА.

Действие этого произведения длится минут сорок. С того момента, как герой увидит на причале – то есть на платформе, конечно! – двух женщин и медленно разденет их (если они поддадутся), воспринимая их при этом, как дома со стенами, окнами, дверьми, комнатами и прихожими, лестничными клетками и коридорами, до первого шага, уводящего его от футбольного поля в лесу.

Тем самым, он как бы вырывается из квадрата смерти. Из области неудач. Из мира не сбывающихся надежд...

Любителям острых сюжетов не найти здесь ничего привлекательного для себя, так что лучше, друзья, не тратьте времени понапрасну. Ничего у вас, друзья, не получится! Тебя же, читатель, приглашаю и, отступив, пропускаю вперед. Обещаю – не пожалеешь.

Книга эта с параллельными местами, с левой стороны помещается кусок реальный, а с правой – нереальный, плод воображения героя.

Машинистки на такое расположение текста не очень-то охотно идут: хлопотно, а деньги те же. Но мы и так обойдемся, лишь бы знать эти фрагменты и уметь их отличить один от дру-

гого и от кусков, написанных от имени автора. А уж зная все это, чувствуя ритм, легче легкого в собственной памяти раскладывать их по соответствующим вместилищам.

Не так ли?

Встречаются здесь и рассуждения, взятые в скобки. Например, такие...

Скобки открываются.

...книга, как и любое произведение искусства, например, музыки или живописи, – не что иное, как способ (приспособление) убить время. Чем большее число людей и чем на большее время привлекает к себе произведение искусства, тем оно более великое. Возьмем гения, действующего на воображение лишь немногих, лишь элиты, и совсем непонятного тем из нас, дорогие мои, кого только сюжет к себе влечет. Вы что же думаете – не велик тот гений? Ошибаетесь, очень даже велик! Мы, элита, все наше время отдаем гению, а у нас, у элиты, нет такого, что бы это вот время тратить на восприятие произведения искусства, а уж другое время – на личные нужды. Нетушки! Мы с любимым произведением никогда не расстаемся, таскаем его с собой, как дурак писаную торбу... С этим утверждением можно поспорить, как, впрочем, с любым другим утверждением, что зависит и от характера спорящего, и от его, прости Господи, интеллекта, даже от настроения в тот или иной момент. Желая оспаривать да пусть оспаривает, главное – время, похищенное размышлениями. Не так ли? Что касается меня, то не очень-то мне импонирует эта колющая в глаза элитарность: одни, мол, могут, а другие – не могут. Как-то не демократично, правда же? Хотя, с другой стороны, одни могут купить, например, ковер, а другие – не могут. Тоже как-то не очень-то демократично, а? Однако же, приходится мириться.

Скобки закрываются.

Зашел в вагон и уселся на грязную скамейку возле окна.

Вторая рама еще не была вставлена на зиму, и в междурамье вольготно купался в лужице огрызок яблока. В той же лужице размокал коричневый окурочок. Неуютен и сиротлив был пустой вагон пригородной электрички в это мрачное осеннее утро. Его зябкая пустота сливалась с моей душевной опустошенностью, и эта умноженная сама на себя пустота была хуже не бытия.

Где же негритенок с дуэньей?

Я уже почти приподнялся, даже почувствовал, что брюки приклеились к деревянным рейкам скамьи (плохо убирают, вот и липкая), но оказалось, что слева от меня уже сидит некто в шинели и буденовском шлеме. Креста на буденовке, как на маковке церкви, не было, и не храмом Божьим был он, а амба ром с осклизлыми кучами подгнившей картошки.

И еще был один сосед – большеголовый, серолицый и в пропотевшем пиджаке с проступившими разводами соли под мышками. Цвет волос у него был хоть и коричневый с проседью, да какой-то нездешний. Да и коричневые веснушки по всему лицу были какие-то нездешние. А уж о коричневатом кожаном портфеле и говорить нечего – по нездешнему он был набит и просил каши.

«Вид у него был жалок, зато дух его был высок».

Допустим, действительно, вид у меня был жалок. Мятые брюки снизу заляпаны глиной – прошлогодней или даже позапрошлогодней. Сколько времени они провалялись в стенном шкафу, на самом дне, среди старых тапок, сапожных щеток, дырявых носков! Я эти брюки забыл в свое время выбросить. Теперь пригодились. Не ехать же в такой холод за город в шортах. Пальто не лучше. Его, правда, рановато выбрасывать. Я еще в нем похожу. Оно отвисится, вот увидите!

Туфли – жуткие. Замшевые мокасины, но видели бы вы их!

Нельзя было в резиновых шлепанцах ехать в такую холодную сырую погоду. Кто же знал, что жара, летний зной в один миг сгинут и уступят поле боя ноябрю – глухому, мрачному, промозглому.

Вид у него был жалок...

Впрочем, с чьей точки зрения у меня был жалкий вид? С точки зрения какого-нибудь английского профессора из Оксфорда? Так у него у самого вид не лучше в пропотевшем пиджаке и с расползшимся по всем швам портфелем, из которого, точно ядрышко лопнувшего фисташкового ореха, высовывался корешок очень толстой книги, видимо «Кто есть кто».

О мужике в буденовке с нашитой на рукаве эмблемой – перекрещенные ружья – и говорить не приходится. Самый что ни на есть жалкий вид, особенно из-за маленькой, словно бы игрушечной хозяйственной сумки, чиненой перечиненной, из облупившегося дерматина. Из нее горлышко бутылки торчит, заткнутой пробкой, свернутой из газеты.

Попутчики беседовали.

– Он бутылки коллекционирует, – сказал мужик в буденовке. – Встречаются исторические. Из коричневого стекла штоф семнадцатого века. Из-под пива зеленая бутылка середины прошлого столетия. Другие экспонаты.

– Как у нас говорят – хобби, – старательно выговаривая слова, вымолвил пропотевший пиджак.

– Если угодно, – великодушно согласилась буденовка. – По помойкам рыщет. В дома врывается.

Буденовка помолчала и чуть заметно кивнула в сторону заткнутого горлышка бутылки:

– А?

Молчание.

– По чуть-чуть.

– Нет, спасибо!

– А?.. Самую малость? Собственного производства? Как говорится, на пробу?

– Ну... Такое время неподходящее... И место...

– Не настаиваю!

Буденовка поправила наклонно стоящую бутылку и продолжила:

– Врывается в дом и спрашивает, нет ли какой пустой бутылочки. А сам рыщет глазками по углам, да еще норовит в чужие глаза взглянуть. Так сказать, проникнуть в душу. Соображаете?

Пропотевший пиджак зашевелился, переместился на скамейке, брови приподнял в удивлении.

Буденовка засмеялась.

– Мы здесь многое чего знаем. – Он подмигнул. – Знаем, например, что Нат Кинг-Кол сказал. Он сказал, что у Дорис Дей колени шершавые. И еще кое-что знаем!

Пиджак быстро и высоко, до кромки волос, поднял брови и тут же на место возвратил.

– Чем, простите, вы занимаетесь?

– Охраняю.

– А что вы охраняете?

– Все!

Вагон уже ехал, сквозь пыльное в потеках стекло виднелись мрачные заборы, насыпи, временки, ржавые гаражи, кабели, тополя, с которых густо-зелеными хлопьями слетала листва. За деревьями, совсем размытые дождем, громоздились дома. Первые этажи заслонены были, но это и хорошо. Главное, что бы можно было увидеть вывески.

Ждал я свою любимую вывеску, но ее пока что не было. Вот-вот появится. Она всегда появляется неожиданно, когда уже и ждать перестает. Все мне кажется – сняли ее, наконец, спохватились.

Там, за вагоном, находилась Великая пустота, как назвал такую безлюдную пустоту мистер Генри Джеймс. Не читали? Она притаилась, или я к ней притерпелся, словно к застаревшей зубной боли. Ее нет, но это не спасает. Даже от ее отсутствия тошно.

Представляю себе эту книгу огромной картиной, величиной с «Явление Христа народу», и в разных ее частях – разные сюжеты.

Например, ласковая и одновременно горестная обезьянка с двумя косичками, свисающими с упрямого затылка, в марлевом платице стоит под деревянной истекающей смолой стеной дачи возле коричневой бочки, наполненной дождевой водой. Действительно, у нее мордочка очертаниями как у обезьянки, в форме подошвы. Хвостика, конечно, нет. Какой может быть хвостик у человеческой девочки! Есть золотисто-каштановая

челка, закрывающая лоб до самых удивленно поднятых бровей, а вот хвостика нет!

Ах, сколько слез пролилось в то далекое лето. Не в лесу они лились, а в жаркой городской комнате. Обезьянка на диван с ножками забралась, мордочку сунула в жесткий угол между сиденьем, валиком и фанерной прямой спинкой, обтянутой тем же суровым колющимся материалом, что и все остальное. Она плакала горестно, горячими детскими слезами от сладостной безысходности на пороге Великой пустоты и серых будней, где предстояло ей отныне и навсегда пребывать.

Вздернутый носик улавливал мышинный запах, струящийся из черной щелки между спинкой и сиденьем.

Большая добрая мама сидела на стуле перед столом со штопкой.

– «Ножки кривые»! Это ж надо такое придумать про ребенка!

Я вижу тебя, неподвижно сидящей в воздушном пласте, заключенном в бетон. В вольере младенец. В машинке поэма. В кофейнике кофе. В бутылке ликер. И красные отсветы зимнего солнца на глянцевом кафеле мутно лежат, и милая мама с больными ногами присела на стул, чтоб встать через миг. А ты в отчужденье, сжимающем сердце, жестокие образы в золоте льешь. Уходит тревога, светлеет разлука, и теплые щипы покрываются льдом. (Фигура атлета в московском закате оптически резко стоит, как Антей.) И синий Арбат, и зеленое небо, и черные искры безумных стрижей – все это пожар неподвижный и сложный, божественно дивный в своей пустоте. Каленое солнце холодной моделью себя воссоздало в морозных дымах, и чем ледянее студеные ветры в асфальтовых гротах, тем мысль горячее.

И это тоже – правда. Не сиюминутная, а вечная, правда, картинка из будущего, не состоявшегося по отношению к настоящему, описываемому моменту.

Обезьянка знала, что мама тоже плачет, только тихо. Но лицо должно быть в слезах. Быстро, подняв локоток, взглянула из своего уголка – мокрое лицо, точно умылась мама, да не вытерлась полотенцем. Обезьянка сильнее припустила, да тут шаги раздались в коммунальном коридоре – все ближе, ближе, ближе... Дверь распахнулась – он!

– Быстренько, дочурка, побежали!

Жарко, а папа в пиджаке и в галстук, и руки у него сухие и прохладные, как не у живого существа, а у деревянной скульптуры. От него ландышем пахнет! Или лавандой! Обезьянка ручонками своими вцепилась в папину руку – твердую руку из Великой пустоты.

Пусть скульптору это покажется глупо, но мне сочинить – значит – в глине слепить холодную многофигурную группу и кровью горячей пустоты залить.

«Пусть уж он будет евреем, раз ему так нравится», – думала обезьянка, в троллейбусе тесном стоя рядом с папой и упираясь лобиком в коричневый жесткий пиджак. А ножки сами собой становились то в третью позицию, то в четвертую.

Пустынные залитые зноем и серым асфальтом в трещинах пространства улиц, мостов, подворотен. Серая река слепящим золотом стрельнула сквозь жидкую городскую зелень. И красной кирпичной кладкой, черной бойницей, жестяным кружевным флажком на шпилье взглянула вдруг древность из Великой пустоты и неизгладимый след оставила в душе.

Господи, прости меня и помилуй за обезьянку, и за щенков, и за лошадей, и за волчиц, и за всех описываемых здесь существ – с хвостами и без оных. Все мы у Тебя обезьянки!

Речь, однако, сейчас не обо всех. Речь лишь о той, что с папой своим евреем об руку прошла в подворотню, миновала дворик с деревенской зеленью, даже с бузинным кустом, влагу тянущим снизу, из речки Неглинки (если в этой детали ошибаюсь, прошу прощения). И вот они уже в жарком, но темном коридоре с паркетом, безнадежно затоптанном множеством подошв, так и этак ходивших.

Та толстая рыже-седая со стальными глазами раскоряка в габардиновой синей юбке, что решительно утверждала – «Ножки кривые!», из-за стола поднялась, выпроставшись из тесного кресла, добрым парходом оплыла стол и перед обезьянкой, обомлевшей присела, а на папу-еврея снизу-вверх смотрела. Холодные эллипсовидные стеклышки очков се зеркалами играли, то люстру бронзовую показывая, то переплет окна и за ним – крышу и небо, то папу головой вниз, а над ними, над стеклышками, из вороха складок, из веснушек и ресничек, из нежного фарфора и прожилок лился на деревянную скульптуру в костюме любовный взгляд.

– Звонит мне Мирон Севастьянович, очень-очень...

– Друг мой и товарищ. Вместе мы с ним...

– Ах ты, Боже ты мой, что делается, ведь скажешь такое про ножки или про плечики – а сердце так ведь и колотится!

– У моей-то дочурки, слава Богу, ножки, что струнки.

– Что струнки! Точно сказано, товарищ Моисей Соломонович! Как отрезано.

– Наоборот.

– Нет-нет, именно так, не отступлюсь! Точно ска...

– Минуточку, товарищ. Со-ло-мон Мо-и...

– Простите великодушно! Ну, разумеется, сначала Соломон, а уж потом Мои...

– Минуточку! И так бывает, и по-другому бывает, все зависит от того, кто отец, а кто сын. Как у всех.

– Как у всех. Верно, товарищ! Затанцевалась! Все сама – и набор здесь, и репетиции, да и концерты тоже. Кому доверить подмости? Увы...

И потом набежали, на стол ставили, восхищались, и ножки хвалили за прямизну, и один худой и морщинистый обезьян так и сказал:

– Вот ради этого-то зернышка, этого-то таланта, звездочки этакой и весь сыр-бор. С удачей нас всех, друзья!

Обезьянка все с ужасом ждала – вернется то страшное, вернется! Но не вернулось. И забыла она о Великой пустоте, точно и нет ее вовсе, и горечь испытала она удивительную, что нам в радость была бы. Другая обезьянка, маленькая и хорошенькая, с ямочками на щеках и с глазками круглыми, спрашивает в темном коридоре, теперь уже по-сентябрьски уютном, холодном:

– А у тебя что, нет поманельки?

– А что это?

– Поманелька? Не знаешь? Ой! Вы знаете, Она, оказывается, не знает!!!

И плачет обезьянка, захлебывается слезами. А горе-то вовсе и не горе, а праздник!

Он – полу еврей, она – полу еврейка. Его отец должен бы жениться на ее матери, а его мать должна бы выйти замуж за ее отца. Хрупкий, похожий на деревянную скульптуру «еврейчик» потянулся к крепкой русской девке, «шикс». А вот его отец – средних лет русский – клюнул на тонченную красоту молоденькой еврейки.

Размышляя на эту тему, он представлял себе, какое потомство получилось бы от этих двух новых браков. Но в результате – так выходило из размышлений – они, то есть новые, «другие», дети, он и она, все равно бы встретились и кровь бы смешалась.

Поторопились родители, соединившись раньше времени на целое поколение, и их детям – полукровкам трудно, даже невозможно соединиться.

Их удел – вечная разлука.

Он подумал, что это и есть предмет его сочинения...

Когда-то придется приступить к описанию еще одного бесхвостого или хвостатого (имеется в виду Кулеш), чтобы того, в пропотевшем пиджаке, поставить на место. Не зря же он едет со мной в промозглом вагоне.

Рапсодии песочные часы воздушным пузырем, туманным от росы, скрывающимся в зарослях кленовых, мерцают среди сумерек зеленых. Дрожаньем струн, смычка шмелиной песнью и россыпью созвучий голубых по лестнице сбегает ноты с вестью: уходит время...

Так вот, Кулеш тогда еще начинался, в тех зелено-золотых тонах. Ярясь и психуя, выталкивал он с футбольного поля в лесу меня да братца моего горемычного. Зверек такой непонятный, волосатый и осипший, впадающий вдруг в истерику и вдруг исчезающий в никуда, в ту самую Великую пустоту.

А ведь ты, Кулеш, действительно какая-то подозрительная личность, и моя мама определила самое основное в твоём облике и вообще существе.

И продолжал.

Вот ты спросил, помню ли я Юру, а я представил высокое крыльцо в тени, морозный горный воздух, мартовские сосульки и нас с Юрой, усевшихся боком на деревянные поручни и попивающих из горлышка пиво и заедающих шашлычком на коротких шампурах. Наши лыжи стоят внизу, прислоненные к потрескавшейся оштукатуренной стене. Стена в пятнах, потеках, кое-где покрыта прозрачными наростами оплывшего льда.

Эта стена навсегда запомнилась из-за бурого пятна, хотя сама она серая, даже голубая, пятна, напоминающего очертаниями фигурку согбенного гнома в свалившемся набок колпаке с помпоном, с длинной и широкой бородой, опутывающей всего гнома, кроме верхней части лица с огромными глазами-пятнами, пристально уставившимися в твои глаза.

Каждый раз я ловил себя на мысли: вот хорошо бы запомнить это пятно, зарисовать в памяти или даже сфотографировать. Но, попивая сладковатое «жигулевское», поеживаясь в тени от холода и глядя на горные склоны, покрытые льдом и ярко освещенные жарким солнцем, с сожалением, вызывающим сентиментальные слезы, говорил себе, что, наверное, уехав отсюда, уже никогда не вспомню странного гнома, хотя сейчас, в данный момент, столь пристально вглядываюсь в него.

Тогда я ошибался, думая, что навсегда теряю гнома с удивительными глазами. Память сохранила его, и, может быть, именно из-за него я и Юру помню в те короткие прекрасные минуты несуетного сидения на крыльце Домбайского буфета.

Это был долговязый парень с худым лицом и глубоко посаженными глазами. Он сутулился, хмурился и поэтому – казалось нам – волком смотрит. Глаза так и сверкали из укрытия, точно из двух пещер. Весь его облик говорил о физической и духовной силе.

Мне такие люди не нравятся, в них мало человечности, способности понять другую личность, мир для них прост, ясен, и, несмотря на цельность, такие люди кажутся мне скучными, и, может быть, даже вообще людьми быть не достойны.

Достойны – не то слово. Что значит – достойны, не достойны?

Точнее сказать, им бы не людьми родиться, а другими какими-нибудь существами – орлами или горными козлами, а может быть, лошадьми Пржевальского. Впрочем, последние слишком уж суетливы в момент опасности.

Итак, Юра, сидящий в кресле возле камина, выставив колени и свесив крупные кисти рук к дощатому полу, застеленному тонким вытертым ковриком, казался мне именно таким существом – примитивным и унылым.

Это был первый вечер нашего знакомства.

Однако же наутро, когда всех нас выгнали из бревенчатого дома на снег делать зарядку, солнечный луч осветил пещеры, и глаза в глубине пещер оказались зеленоватыми, прозрачными, и пестрая радужница камешками чернела в студеной воде. В другой раз мне удалось увидеть его глаза не в засаде, где они у него обычно находились, а, так сказать, в домашней обстановке. Юра лежал на кровати, положив пятки на железную спинку (кровать была ему коротка), и дневной свет, проникающий в распахнутое окно, высвечивал пещеры и затянутые веками выпуклые полушария. Но вот веки поползли вверх, и открылись глаза, теперь уже не зеленоватые, а голубые. Они всегда у него голубые, зеленоватыми же делаются, когда желтый свет солнца или электрической лампы смешивается с голубым. Голубое с желтым дает зеленоватое. Я лично так объясняю изменения цвета Юриных глаз.

Впечатление о примитивности, бездушии разрушилось. Глаза выдали растерянность перед жизнью, а человек, теряющийся перед жизнью, – есть настоящий человек, вернее, истинный человек, ибо, растерявшись, все силы души направляет на то, что бы найти свой путь. Если для достижения этой цели человек тратит все силы души, наверняка путь будет найден, а если не найден, то сами по себе поиски станут для человека плодотворными.

Так я думал тогда и теперь так считаю.

Юра был веселый, но одновременно очень пылкий, даже страстный, и я опасался за постоянство моей девушки. В кровати под простыней, натянутой до подбородка, она напоминала саночницу перед стартом, особенно когда поднимала коротко остриженную голову, словно бы высматривая маршрут предстоящего скоростного спуска, и Юра выпускал на неё из пещер горячие взгляды.

Однажды мы с ним пошли в Теберду.

Мы шагали в расстегнутых пальто и без шапок вниз по горному серпантину. Слева оставалось ущелье, но дну его бежала речка Аманаус. За ущельем в лазоревое небо упирались острые вершины, покрытые сине розовым льдом, матовым, как мрамор. Солнце поднялось, и почти вся дорога была ярко освещена. Лишь иногда мы оказывались в тени, и здесь было так холодно, даже морозно, что уши начинало пощипывать, а за обочиной под снежным настом булькали и журчали натекающие со склона талые воды, и кое-где дорогу пересекали быстрые речушки, разрушившие асфальтовое покрытие. Асфальт, трескаясь, приобретал сходство с засыпанным камнями дном горных речек, состоящих как бы из нескольких русел, сплетенных, точно женская коса, в одно.

Навстречу попался автобус. Он медленно поднимался из Теберды в Домбай с очередной группой туристов. Их глазами я увидел нас с Юрой: два молодых человека, беспечных и свободных, шагают неведомо куда, и они, эти два молодых человека, не чужие здесь, не случайные гости на горной дороге вдали от жилья, а хозяева, властители этих мест – гор и ущелий.

Я с беспощадной ясностью осознавал призрачность такого представления о нас. Такими же призрачными были наши представления о беспечной и живописной компании (вязаные красные шапки с помпонами, нейлоновые куртки и узкие брючки, вправленных в толстые шерстяные носки, и массивные ботинки для горных лыж), встреченной нами некоторое время назад, когда мы в первый день, еще не знакомые, ехали из Теберды в Домбай в таком же (или в том же самом) расхлябанном автобусе, ноющем от натуги.

Громко разговаривая, мы делились самыми сокровенными взглядами на жизнь, знакомили друг друга с самыми важными событиями из своих жизней, каждый из нас, не вслушиваясь, правда, в эти интимные излияния, выложил все о своей единственной и неудачной любви. Впрочем, в наших рассказах неудачная любовь вовсе не выглядела такой уж безнадежной, и даже получалось, что мы, и только мы сами, виноваты в неурядицах и что только от нас, единственно от нас, зависело благополучие этой любви.

Восхитительное заблуждение. Нас послушать, так нет в мире ничего сверхъестественного, а Великая пустота – досужая выдумка художника!

Однако было именно так.

Теперь у меня от Юры осталось лишь внешнее впечатление, я забывал все его откровения, все подробности его жизни и его чувств. Но осталось впечатление о полной (прозрачной) ясности в отношении его судьбы, его растерянности перед жизнью, что он пытался в себе перебороть.

До сих пор вспоминаю охватившую меня тогда тревогу за него. Как же он жить будет со своей неприспособленностью, да еще и без моей поддержки, хотя я и отдавал себе отчет, что не могу оказать ему поддержку, ибо сам нуждался в крепком плече близкого человека.

И вот сейчас, Кулеш, когда мама вытащила меня из-за письменного стола, и я резко поднялся – смахнув на пол кипу исписанных листков своей безнадежно запутанной рукописи, катастрофически распадающейся и рождающей в душе ужас безнадежности, от чего пот ручьями льется по ослабевшему телу, – чтобы узнать, что же это за подозрительная личность вызывает меня к крыльцу на разговор, упорно отказавшись зайти в дачу, и когда оказалось, что это ты, Кулеш, и ты сообщил о решении провести игру в память о трагически погибшем нашем товарище по футбольному полю в лесу, именно с тем моим домбайским другом я простился навеки, и даже позже, когда я уяснил, что погиб совсем другой Юра, мой Юра, хотя и остался на сей раз в живых, уже был похоронен мною вместе со всеми воспоминаниями, с ним связанными.

Спустившись в Теберду, мы гуляли по странному, непривычному нам горному курортному городку с множеством домов отдыха и туристских баз, расположенных на зеленых склонах (снега здесь никогда не бывает), окруженных деревянными палисадниками, с горянками в темных, точно монашеских, платках, торгующих грубой вязки свитерами, шапками и варежка ми, с чебуречной, чья полупрозрачная крыша накалилась на солнце и, когда мы вошли вовнутрь дощатого строения, своим желатиновым светом создавала впечатление, будто на улице летний зной.

Потом мы стояли на низком – вровень с водой – берегу живописного озера, окруженного деревьями, поднимающими свои ровные коричневые стволы из свежей весенней травки. После многочасового говорения мы оба устали, ноги от длительной ходьбы ныли. Все-таки двадцать километров прошагали... Перед нами стояла проблема, как вернуться в Домбай. Не пешком же в горы подниматься. Мимо озера пролегалo шоссе. Мы ждали попутного транспорта – грузовика, автобуса или такси. Последнее было маловероятно. Хотелось домой, в Домбай, выпить пива в буфете, где торговал усатый пожилой горец в замызганном белом халате, натянутом на ватник, и потрепанной солдатской ушанке с оборванными тесемками, так что уши свисали, точно у пса.

– Попьем пивка у гнома, – подумал я вслух. Эти слова сами собой вырвались из моих уст, уж очень пивка хотелось, а в Теберде его не было.

– У гнома? – Губы Юры изобразили улыбку, лицо приобрело самодовольное выражение человека, ни в чем не сомневающегося и не прощающего никому ни малейшей ошибки. – Почему же у гнома?

– Я имею в виду пятно на стене буфета, возле крыльца.

– Так это не гном!

Юра чуть согнул ноги и уперся ладонями в колени, приняв стойку футбольного вратаря, готовящегося отразить пенальти. Я был застигнут врасплох. Это был мой гном, из моего внутреннего мира. Юра понятия о нем не должен был иметь. Однако же он сразу, с полуслова, сообразил, о чем речь.

– Просто бородатый старик.

– А колпак?

Юра опешил. Неприятно самодовольное выражение слетело с его лица, открыв истинную Юрину суть – растерянность перед жизнью.

– Разве он в колпаке? – прошептал он. – По-моему, нет...

– В колпаке, – твердо сказал я. Уж в чем, в чем, а в этом- то я был совершенно уверен. Мог доказать.

Юра ничего не ответил, и, лишь когда мы подъезжали к Домбаю, около часа промерзнув в кузове грузовика среди ящиков пива и консервов для домбайского буфета, он наклонился к моему уху и, перекрикивая натужный рев мотора, заявил, что согласен, там действительно колпак и старик действительно гном.

И вот с тех пор мы ни разу не встретились за долгие годы.

Странно, не правда ли? Такая дружба, такое взаимопонимание, такое сходство в мировосприятии и – не видеться! Объясняю это так: домбайской близости между нами уже никогда не было бы, а иначе мы не могли общаться. Разлука честнее, чем, если бы мы продолжали встречаться в обычных обстоятельствах, требующих не только откровенности, но также и умолчаний, скрытности, а порой и обмана, который мы и за обман-то не считаем.

Нет, Кулеш! Ты, конечно, темная личность.

Не зря про тебя «Бубукин» сказал как-то, в перерыве игры, что тебе на неделю хватает еженедельника «Футбол – хоккей», в день ты осиливаешь по странице текста, не больше.

Подумай, сколько времени ты пытаешься объяснить, что же это за Юра погиб, и лишь только сейчас я понял, кого ты имеешь в виду, когда по случайной ассоциации с тем Юрой, принявшим вратарскую стойку для отражения одиннадцатиметрового удара, вспомнил твоего Юру, который стоял в той же позе, ожидая моего удара. Игра-то закончилась вничью, и победитель определялся серией пенальти. Вратарь стоял на линии ворот, чуть перемещаясь влево – вправо, уставившись на мою ногу в попытке угадать, в какую сторону бросаться. А чего гадать? Я разгоняюсь по дуге и бью примитивно, подъемом правой, так что мяч должен лететь в правую от вратаря сторону. Так и произошло. Юра бросился и на какой-то миг завис горизонтально в воздухе. Мяч мазнул по пальцам и, даже направления не изменив, влетел в сетку.

Я тоже, конечно, виноват, слишком много внимания уделяю внутреннему миру, а внешний использую, как самый обыкновенный потребитель. Надо мне в футбол погонять, прихожу в определенное время на футбольное поле в лесу и играю, а с кем играю – понятия не имею, даже имена путаю. И если по игре надо что-то сказать партнеру, называю человека так, как его другие называют, Лешка, Гришка, «Бубукин» или еще как-нибудь, а после игры забываю, потому что мысли мои снова оказываются в других краях...

Тебя-то, Кулеш, я знаю и не путаю, потому что мы знакомы уже лет тридцать, не меньше. Да что там тридцать! А детские впечатления самые сильные и самые истинные.

Например, как сейчас вижу маленького мальчика без шеи с круглой головой, напоминающей обтрепанный мяч. Длинные сатиновые трусы ниже колен...

...а человеческие имена – это такие ветры. Они прилетают откуда-то и, подхватив безымянных младенцев, несут их со скоростью жизни...

Видел, как Кулеш дрался в детстве с мальчиком, потому что мальчик, рассердившись на него во время игры на футбольном поле в лесу, крикнул:

– Известно, Кулеш, кто твой отец!

У рассерженного мальчика глаза сверкали, и личиком своим он стал похож одновременно на всех тех женщин, да и мужчин тоже, кто именно на эту тему судачили, о происхождении Кулеша. Про него буквально все знали в городке, но это почему-то считалось обидным. Однако все знали и сейчас знают, но со временем, с течением лет и десятилетий этот факт потерял актуальность, и уже многие, кто остался жить в этой местности, готовы согласиться с мнением, что со снежным человеком, случайно попавшим сюда и зачавшим здесь сына, – все это выдумки.

И согласились бы, да никто такого мнения отрицательного пока что еще не имеет и не высказал. Никто до сих пор этого не отрицает, а просто этот факт умалчивается...

– А кто?

Кулеш медленно приближался к мальчику.

– Известно кто!

– Ну! – допытывался Кулеш. – Кто?

– Кто? А вот кто...

Но тут мальчик осекся. Лицо у него стало красным-красным. Через мгновение краска сошла, точно из стеклянной колбы слилась. Лицо сделалось никаким, прозрачным. Сквозь него стали видны деревья, листья, хвоя, синие просветы неба, открывшиеся в серых тучах, пролетающие птицы, золотые паутинки. Все мы, присутствующие, ощутили нечто странное, потустороннее, божественное.

Или, может быть, антибожественное – именно то, что зовется Великой пустотой.

Всех нас это коснулось, кроме Кулеша, ощутившего вдруг прилив энергии, ярости, могущества. И вот уже мальчик корчится в траве. А Кулеш тузит мальчика кулаками, коленками, в живот головой бьет:

– Ну? Кто? Говори! Говори!! Го-во-ри!!!

Они дрались, пока мать Кулеша их не разняла. Откуда она взялась в лесу, на футбольном поле тогда – неизвестно.

Домишко у них покосившийся, нищий, холодный, и нет там достатка. Как-то, придя к Кулешу за футбольными сетками – он у себя дома их хранил всю неделю до субботы, до дня игры, – я застал такую сцену.

– Кто мой отец?! – кричал Кулеш, сжимая кулаки и брызгая слюной.

Он уже был не мальчик, а юноша, носил темно-синий прорезиненный плащ с изнанкой в мелкую клетку по моде тех лет и белый якобы шелковый шарф и кок начесывал, да неудачно – все волосы на лоб лезли.

– Ну! Го-во-ри!!!

А она – молчала – и все. Только губы опущены и в треугольных горестных глазках – слезы стоят.

Сцена эта, не знаю почему, не знаю, соотносится как-то с тобой, моя любимая. Где была ты тогда, в тот пасмурный день нашей юности, вспомни!

Не было хвостиков и у двух разно породных щенков, плетущихся неподалеку в тех же зелено-золотых тонах утреннего летнего детства, когда ты в поманельке и балетных тапочках возле бочки стояла, правда, уже не утро, а четыре часа пополудни.

Два бесхвостых щенка – я и братец мой Борька – заполняли Великую пустоту летнего леса, зеленой поляны, молоденького ельника. И еще эту Пустоту заполняла свора бесхвостых щенков из пионерского лагеря, нахлынувшая в наш лес и вытеснившая нас с нашего футбольного поля.

Рядом с воздушным пузырем, туманным от росы, обнаружил я вдруг исчезнувшего из поля зрения бесхвостого братца, большого и толстого. Комариное тонкое пение лучом лазера притянуло меня к юной елочке, неотличимой от нескольких других таких же. Встав на задние лапы, засунув обиженную мордочку с подпухшими глазками в мягкую хвою, братец мой тихонько, на ультракаких-то там волнах пел комаром, зайдясь в безутешном горе. Не взяли его играть в футбол. И меня не взяли играть в футбол. Мне было горько и обидно, но я не плакал – знал, наверное, что наиграюсь, а вот Борька слезами заливался.

То был перст Божий, указующий лучом солнца в сумеречный зимний день на ту елочку, превратившуюся теперь во взрослую ель.

Два мига, разделенные бездной времени.

Однако, что же это за время такое и где оно проходило? Оно где-то проходило стороной, и каждый его проводил по-своему.

Елочка тоже его проводила. Для этого ей не требовалось менять своего местопребывания. Где была – там и осталась. Но мимо нее, а также и через нее, текло пространство: земля,

соки, ветры, облака. (Земля в смысле – почва.) Она ежесекундно умирала, ежесекундно же возрождаясь.

И тот бесхвостый, тот сотрясающийся от детского горя, тоже изменялся и на данный миг был уже вполне взрослым, и уже внутри него произошло нечто заставляющее его воображение считать реальностью.

Странное свойство, не так ли?

Он уже потряс свою маму тем диким вопросом, и уже не которые дальновидные червячки начали подумывать о нем. Своими глазами он, лирический герой этой книги, их не видел и не знает, как они выглядят в действительности. А вот Заболоцкий их видел, и очень даже отчетливо. И Джойс тоже их видел, вернее, один из его Улиссов, раз уж он так отчетливо представлял себе их работу под землей. Кто читал – знает. Что же касается червячков лирического героя, то они совсем другие – тоненькие проволочки, и тело они разъедают очень аккуратно, красиво, под клавесинную музыку, безо всякого гниения и прочей антисанитарии.

Впрочем, это довольно-таки удивительно. Ведь от черепа под скалой, на которую лирический герой вместе с Наташей взобрался и где, вспомните, сошелся клином весь свет, в камнях, торчащих из звонкой гальки крошечного пляжа, так сильно несло тухлятиной, что кое-кто из присутствующих детей сознание потерял. Еще бы – отправиться на камни купаться, а вместо этого натолкнуться на человеческие останки.

Казалось бы, сильное впечатление для мальчика. Ан, нет! Конкретный случай глубоко запал в душу, даже страх смерти породил, но дальше конкретности дело не пошло.

Другие смерти воспринимались им без помощи того далекого опыта – из детства. И не мог он себе представить, что череп его братца, оказавшись в земле, разгрызлся в общем-то теми же белоглазыми червяками, что безымянный череп того сдутого со скалы зимним вихрем прохожего, как и трупы из произведений выше упомянутых мистера и товарища.

Вся природа – без чинов – едина, и нет разницы между высокоразвитой материей и гнилушкой. Все – жизнь, и все – праздник.

На белую мраморной желтизны поверхность, на плотный снежный наст, из которого торчали стволы елей, в том числе и той, нашей, елочки, упал снежный луч. Золотое – медовое – пятнышко светилось в сумраке, не отраженным светом, а изнутри, так что ощущалась вся толща снежного покрова, полупрозрачной массы, нежной и прекрасной.

Теперь, обезьянка, любовь моя вечная, к тебе обращаюсь. Ты об этом должна знать. Ты и так знаешь, однако мне надо, что бы ты это знала от меня. К вам, другим моим сверстникам, то же обращаюсь. Мне надо, чтобы и вы знали об этом.

Итак, вперед!

Когда началась война, нам с тобой было года по три, а когда она закончилась – по семь лет. Что там особенно могло запомниться, особенно в первый год, самый жуткий? Может быть, несколько бомбежек.

За окном – первозданная темнота, такая серая тьма, как при общинном строе или, возможно, при первобытных людях. Серая тьма, в которой нет жизни, нагромождения домов вперемешку с развалинами и просто коробки домов. Таков вид затемненного, ожидающего ночного налета города из окна пятого этажа.

А вот – подземелье.

Лампочка слабого накала, освещающая сама себя под железным, именно военным абажуром – кружок с дыркой – в бомбоубежище с темнотой в углах. Разрывается спеленатый младенец, он кричит, как кошка, а его трясут, укачивают, переворачивают чуть ли не вверх ногами.

Потом – нищий. В сумке от противогаса, в самом низу, что-то есть, что-то с острыми углами, наверное, сахар. Мы все бежим, все остальные, не нищие, за маленьким нищим, и он удирает от нас, в страхе оборачивая заплаканное лицо.

Мы преследуем его и, обезумев, кричим:

– Нищий! Нищий!

Он прячется в подъездах.

Подъезд – священное место. Мальчик знает, что здесь его защитят. Взрослые повыскакивают из квартир, и нам будет плохо. Они – не злые, они нас знают и любят, но, когда мы бежим по лестнице вверх, чтобы загнать нищего на пыльный чердак, и они выскакивают из своих квартир на шум, тогда они вдруг становятся злыми и безжалостными к нам, их детям.

Но мы караулим его во дворе и, когда он, переждав в подъезде, вылезает во двор, начинаем погоню.

Потом он сидит в развалинах на корточках, оголив серую попку. (а хвостика-то нету!) Я стою рядом, грызу кусок сахара из его сумки и смотрю на него и кучку, которую он наваливает. Старые кирпичные стены, ржавые балки, погнутые, закрученные по краям, словно кто-то сильный их разорвал, как нитку, ржавые прутья арматуры с ошметками окаменевшего бетона. Нищий мальчик, тощий щенок с бледной замурзанной мордочкой, в рваных башмаках, в побелевшей от старости черной рубахе, в большом, как пальто, пиджаке на взрослого пса и с новенькой сумкой от противогаза интересен и непонятен почти так же, как интересны и непонятны лилипуты.

Когда же лилипуты успели потрясти трехлетнего ребенка? Чудеса!

О лилипутах следует рассказать. Но не здесь. В этой же книге, но потом. Сейчас автор еще к этому не готов, да и вы не готовы. Скажет, когда будет готов, и вас подготовит. В этом деле спешить никак нельзя.

Теперь – дальше.

Летом я купался, мы все купались в большой луже посреди неровно заасфальтированного двора, точно свиньи.

Да и было ли все это?

Братец мой двоюродный, странное создание, на год младше меня. Он-то что помнит? Всегда плелся он сзади. Удивительное свойство у моего двоюродного братца плестись сзади и пускать сопли. Разношерстная толпа зверья и животных волочится по тесному желобу зимней дороги в сугробах. Тут и лошадь вышагивает, зорко посматривает, посвистывает сквозь прокуренные зубы – пытается заглушить мерещащуюся жуть Великой пустоты.

Ее нет, этой Великой пустоты, но она и есть... Она, между прочим, только лишь через нас и способна прорваться сюда. Не существует других щелей, других посредников. Так что все зависит от нас самих. Пропустили ее в наши пределы – не на кого пенять!

Волчица в кубаночке, в пальтеце, в валеночках да с муфточкой. С веселой нежностью смотрит, хотя возможен и гнев. Она вышагивает, раскачиваясь, как девочка, меховыми боками задевает сугробы – то с одной стороны, то с другой, а след хвостом заматает.

Тут еще кто-то и – две обезьянки: я да братец мой.

Идти в один ряд со всеми не могу, потому что уже места нет, сугробы пространства не оставили, но я – впереди всех. А вот братец мой плетется далеко позади, почти не просматривается в зимних морозных сумерках.

Помните: – «Дело под вечер, зимой, и морозец знатный...»?

– Так, – произносит лошадь, вздымая голову и стуча мундштуком. – Наш Боря, как всегда, отстал. Ну-ка, марш вперед! Что за манера плестись сзади?

Зверино-животная компания – а тут и жираф есть пятнистый среди нас, и кенгуру – улыбается, обращает внимание на отставшую обезьянку, а та скалится, огрызается, но, подталкиваемая копытами, вынуждена быстро прошмыгнуть вперед и не которое время трусит впереди всех. Впереди неё один только я. И вдруг – что такое? Снова братец мой любезный – сзади, и из мокрого носика сопельки лезут.

Тогда я еще не задавался целью проникнуть в его мысли, узнать, о чем он думает. Сколько мне – лет пять или шесть? Были не до этого, точнее – не до осознания этого. А вот года через три я уже иногда думал так, как – мне казалось – он должен бы думать.

«Почему у него есть отец, а у меня нет? – должен был думать братец, глядя на меня. – Как это, когда есть отец, – хорошо или плохо? Ведь он может наказать и побить. И все же – как, наверное, приятно иметь отца, собственного отца. Почему же у него (то есть у меня) он есть, а у меня (то есть у него) его нет?»

Но так было позже.

Утром я гулял. Вернее, мы гуляли.

Очень красивая лошадка с желтыми волосами. У нее красные губы, тонкие черные брови и ресницы черные с бахромой. Уж не сапожной ли ваксой она их мажет? Когда она наклонилась ко мне (зачем – вы узнаете вскоре), я увидел, как кусочек ваксы упал с ресниц и остался на щеке. Черный кусочек ваксы казался огромным среди мелких кусочков пудры.

Нас четверо. Мы стоим у гранитного подъезда. Гранит гладкий, как зеркало, в него можно смотреться, и я вижу всех нас там, по ту сторону черного гранита, в грозных сумерках. Над домами – большое прохладное солнце в туманном осеннем мареве. Не над домами, конечно, над бывшими домами, над развалинами. Нет слов и звуков. Единственный звук в оглохшем мире воспоминаний – сигнал автомобиля «эмка» с желтоватыми стеклами и лакированным кузовом, запорошенным пылью.

Не позабыл я ту террасу, где два чудесных старичка, не виденные мной ни разу, так обласкали новичка таких таинственных ночевок в двух креслах, сдвинутых в одно, где сон прекрасен и неловок. Все было так и – не иначе. Да, «эмка» старая ползла, чтоб оказался я на даче, ... и дивный вечер тепло природу освещал, и Бог мне руку клал на плечи, и душу счастьем насыщал. Седые люди – муж с женой – склоняли нежно надо мной седые пряди или челку. Глаза, какими смотрит Бог, вдруг у неё блеснули колко. А вот сверкнул его зрачок. Кусты, стручки, плетенье кресел, теплынь, закат, небесный свет. Смотрел и в то же время грезил, но сердцем знал, сомненья нет, что в этот вечер где-то рядом бродила смерть...

Итак, сигнал «эмки», которая одна единственная проносится по растрескавшемуся серому асфальту утренней военной улицы и исчезает за развалинами, где среди других куч – кучка нищего. Вспомни, о нем уже рассказывалось.

Двое других – мужчины в коричневых пальто с подняты ми воротниками. Они взрослые, им лет по четырнадцать, а может быть – по сорок. Они стоят возле нас, курят, оглядываются, переминаются, а потом медленно уходят. Тогда женщина приседает передо мной, и я близко от глаз вижу её тревожные глаза на напудренном лице. С ресниц надает кусочек ваксы и остается в моей памяти на её щеке среди мелких кусочков пудры.

Задравши хвостик, шатаясь на лапках, я кинулся за ними вдогонку, выполняя ее приказ, и догнал. Они поджидали меня, остановившись посреди вытопанной довоенной клумбы, твердой, как камень, поблескивающей вкраплениями осколков стекла. И вот тут-то я увидел такое, чего никогда не забыть. Теперь, правда, уже нет на губах той улыбочки, что возникает при трогательных воспоминаниях далекого детства. Из глаза одного из мужчин вытекла слеза, прозрачная одинокая слезинка, ясная капелька. Она, слетев с ресниц, медленно, на ощупь, доползла до середины щеки, и он быстро, мужественно отер ее зажатым в кулаке краем воротника.

Хочу, чтобы ты, моя любимая, и вы, остальные, знали все это – и про нищего мальчугана, и про слезинку, и про развалины. Без этого ничего нельзя будет понять, а понять – необходимо...

Весь день и много дней после я слюнил пальцем свою меховую обезьянью мордочку и запомнившимся жестом вытирал щеку воротником.

Я ворвался в дом и спросил:

– Дома папа?

Я должен был показать ему, как мужественно умею вытирать слюни. Только ему, мужчине – что не мешало ему быть лошадкой с прокуренными зубами, – потому что женщины не поймут, да и стыдно перед ласково-грозной волчицей. Но лошади не было, она была где-то там, в стране, далекой от Вечной пустоты, где сквозь зубы не надо посвистывать, где вместо тебя пули посвистывают, славно так делают, музыкально.

Никого дома не оказалось, кроме братца, справившегося все-таки с дверным замком и впусившего меня в родной дом, так что мой вопрос попал прямо в него:

– Дома папа?

С братцем моим бестолковым сидели мы в перевернутых табуретах, как в кабине истребителя, гудели, пикировали. У него должна катиться слеза, и он должен мужественно вытирать ее. У него же не получалось, он не понимал, зачем все это, зачем мальчикам слюнить щеку, однако же, и не понимая, старался все же сделать так, чтобы я был им доволен. Но как мог я быть им доволен, если у него не получалось!

Не по-лу-ча-лось!

Помню разговоры, что у Борьки отца убили, и что его мама в кино видела хронику и разглядела среди бегущих в атаку московских ополченцев своего мужа, Борькиного отца, и миг его гибели – повалился как бы так, невзначай, шутя, и остался лежать маленьким комочком. И еще помню слухи, что она якобы попыталась разыскать кинооператора, снимавшего этот эпизод, но и его – вы будете смеяться – убили в том же бою, так что свою проявленную пленку он и не увидел.

Интересно, верно?

Не так давно – впрочем, ужасно давно! – братец пришел ко мне на день рождения и принес в подарок коробку конфет. Знаете вы, как такие дела происходят? В приоткрытую на мрачную лестничную клетку дверь квартиры внедряется румяный щенок, втягивает носом повисшие сопельки, и в руках у него сверток.

Он года два сидел в пятом классе, может быть, и больше.

– Ну, Борька, рассказывай, сколько двоек нахватал?

Отец мой, прервав посвистывание, задал этот вопросец с шутливой строгостью. Уж кому, как не мне, чувствовать оттенки, а вот братец мой неопытный покраснел, и даже слезы потекли по щекам от стыда. Сначала двумя быстрыми струйками, но запасец был небольшой, так что остальное дотекало отдельными слезинками. И он – знаете, что сделал? Зажал в кулак воротник курточки и стал им слезы вытирать. Запомнил! Ах, как я ненавижу тогда отца за этот ехидный вопросец. Борька, я знал, тогда думал, что вот у меня есть отец, а у него – нет и что, наверное, ему повезло: как бы он принес отцу двойки? Но, может быть, с отцом (думал Борька) по-другому все сложилось бы, и вдруг как раз плохо, что у него нет своего собственного отца.

Да, у меня он есть, а у него – нет.

По-че-му???

Братец никогда не видел своего папы, то есть, видел, конечно, не слепым родился, да не соображал, кто это. Что младенец понимает в свои первые два года? Другие, постарше его, и то не запомнили. Частенько, думаю, представлял он себе, какой у него мог бы быть собственный отец и что бы они делали вместе. Борька приходит домой.

– Папа дома?

– Папа? Дома, разумеется.

Папа – дома! А где же ему еще быть?

Как у меня.

Борька работал на заводе, между прочим, в кузнечном цехе (кто знает, тому объяснять не надо), в вечерней школе повышал уровень своих академических знаний, и, когда подошли годы, призвали братца на военную службу, во флот. Такой своеобразный кузнечный цех – кто

знает, тому объяснять не надо. Проходил он срочную на Севере. Посылал своей матери письма, совсем фронтовые треугольники на страничках в клетку из школьной тетрадки. Очень просил, чтобы почаще ему писали.

Я лично с ним не переписывался. Начать с того, что вообще писанием писем не увлекался, ну и, кроме того, мне, например, никто тогда не удосужился сказать, что Борька скучает и просит, чтобы ему писали. Один единственный раз его мамочка – этак, между прочим, то ли сквозь слезы, то ли сквозь смех, в глаза даже не глядя, – прошептала, что, мол, «как он там, бедненький», и что, мол, «обрадовался бы, наверное, получив письмецо».

Намеки!

А между тем ушло детство, и ушла война с мальчиком – нищим, и где-то существует уже вполне взрослый молодой челюк – или девушка? – которого, которую (ненужное зачеркнуть) в бомбоубежище питали разжеванным черным хлебом в марлечке. Понял я все про крашеную перекисью лошадку с бровями, нарисованными поверх выщипанных коричневым карандашом М-2, и понял тех юных влюбленных мужчин, по возрасту не попавших тогда на фронт и поджидавших меня на вытопанной клумбе. Один даже, помните, плакал, и знаете от чего? Не поверите – от любви. Смех, да и только!

Зеркальные плиты подъезда отражают уже не развалины, а отстроенные дома. Чтоб осветить подъезд по утрам, солнце вынуждено приподниматься на цыпочки.

Видите, как!

Отслужив срочную, братец...

Впрочем, стоп. Таинственный ритм повествования заставляет прервать тему братца и ввести в дело нечто новенькое. Прошу покорно, читайте себе спокойно, но исподволь готовьтесь к дальнейшему.

Когда в морской рассветной мути я мыс увидел Меганом, подумал я в тот миг о том, что не добраться нам до сути ни жизни нашей, ни мечты, в Москве, среди друзей и близких, высоких дум, поступков низких, различных вин и сигарет, не потому, что мы плохие, а потому, что сути нет. Есть только слабое желанье нащупать дно... Стою я на ветру осеннем и, в робу кутаясь, как гном, дрожу, и розовым виденьем вдали мерцает Меганом.

Что верно, то верно: мыслями моими тогда действительно владело сильное желание напиться, ослабить боль нескольких жутких чирьев в нижней половине туловища. Если у вас такого не бывало, вам меня не понять. Эти действующие вулканы так пекли, что в голове гудело, и уж какие там особо радужные мысли могли ее посетить. Выпить бы стаканчик – и хорошо. Кстати сказать, на Ялту я рассчитывал. По расписанию мы приходи ли в десять утра, и стоянка – часа три. Вполне можно успеть.

А мог бы и нечто другое вспомнить про тот мыс, мерцающий в осенней мути. Нечто прекрасное, но, увы, безжалостно прожитое связывало меня именно с этим кусочком мировой суши.

Пока братец докуковывал на Севере, готовя нам всем одну загадочку, скоро сами увидите какую, мы с князем побросали свои растерзанные чемоданы среди комнатенки и отправились купаться.

Дорога, прорубленная в горе, изгибалась, так что взгляд упирался в отвесный склон, который, медленно поворачиваясь, двигался точно занавес, толчками и рывками, связанными с не привычной обувкой и неудобной для ходьбы поверхностью – в колдобинах и камнях. То и дело шлепанцы подворачивались, я в кровь сшиб оба больших пальца на задних лапах. Наконец движение занавеса закончилось. И оно появилось – вечернее море, молоко с киселем, глянцевое зеркало, у самого берега такое прозрачное, будто бы здесь вообще никакой воды нет, а камешки сами по себе такие блестящие и праздничные.

– Понимаешь, старик, море ни с чем невозможно сравнить, – проговорил князь. – Когда человек видит море, он понимает, насколько сам велик, если способен вместить его в свое сознание.

Видели когда-нибудь изображение Будды с дынеобразной головой, продолговатым носиком, одинокими глазками на несколько вздутном лице, с незавершенным ротиком? Это и есть князь.

Вслед за ним я спрыгнул с низенького, как скамейка, обрывчика на узкий пустынный пляж с грядой пестрых камешков на песке, обозначающих линию прибоя. Вечернее море тоже было пустынное, лишь среди молочного мерцания четко выделялась голова пловца. От нее по воде расходились две волосяные складки.

Усевшись на камни рядом с синими ластами и самодельным подводным ружьем, князь стал отстегивать пряжки на сандалиях, но задумался, обратив лицо к морю. Потом повернулся ко мне и сказал:

– Ведь море не единственное, что вмещается в наше сознание.

– Ни в коем случае!

Вот и Иисус Христос некогда был таким же обыкновенным человеком, и скажи тогда князь на пляже, в то дивное вечернее время: «Я – Сын Божий, верьте!» – я бы поверил, как некогда тому, далекому и единственному, поверили. А ведь ему поверили, хотя не все и не сразу. Некоторые вообще пропустили это утверждение мимо ушей, некоторые же pokrутили пальцем возле собственного виска – ясно, что этот жест означает.

– Какой же ты, так тебя и этак, сын Божий, если мы мать твою Марию и отца твоего Иосифа как облупленных знаем, и родителей ихних до тысячных колен!

Действительно, как тут быть? А? Да никак не быть. Веришь – значит, веришь, а не веришь – ну и Бог с тобой.

Тому пареньку из Назарета сначала лишь несколько человек поверило. Теперь мы всех их по именам знаем. У них состояние духа такое было – верить. А потом, с течением времени, другие тоже начали верить, чем дальше, тем больше.

Верить надо. Саму способность к этому свойству души надо в себе самом развивать. В конце концов, это же главное, а не то – был ли Лазарь, начавший уже разлагаться и смердеть в гробовой пещере, оживлен или не был. Тут, мне кажется, Иисус немножко дал слабину, он и сам потом был собой недоволен, что позволил себя вовлечь в эти дразги: не верите, так я по воде пройду. Слишком уж мелко это.

Повторяю, сама способность твоей души к вере – вот главное.

Мне жутко вдруг стало, и все, что я вижу, такое отчетливое, вещественное, представилось вдруг игрой ума, искусно отгородившегося от Великой пустоты.

Меня озноб пробрал.

Князь все еще восседал по-турецки и смотрел в сторону моря. Его облик успокаивал. Князь – вот кто мог связать меня с действительностью, и я спросил, чтобы что-нибудь спросить:

– Ты счастлив?

Звук моего голоса, действительно раздавшийся, все поставил на свои места. Князь с готовностью ответил:

– А как же. Я счастлив, старик. Пришла долгожданная пора большой охоты.

Я плыл от берега, выдыхая воздух в воду и глядя то в сторону мутного горизонта, закрываемого время от времени длинной пологой волной, гладкой, как слюда, то вниз сквозь воду на зеленоватое дно и затянутые песком мелкие камни. Князь появился подо мной, перевернулся на спину и подмигнул восточным глазом, отчетливо видимым за овальным стеклом маски. Вытянутой рукой он вертел ружье с насаженной на острие маленькой камбалой, с одной стороны светлой, почти белой, а с другой темной или, точнее сказать, никакой – поворачива-

ясь этой стороной, рыба сливалась с окружающей ее средой и исчезала из виду. Была – и нет. И снова появлялась.

Князь вынырнул, вылил изо рта воду.

– Сезон открыт.

Хорошо он нырял! Ах, как хорошо! Мне даже кажется, он научился так здорово нырять и плавать под водой, потому что плавание на поверхности затруднялось маленькими размерами тела и конечностей, искусственным образом увеличенных ластами.

Князь погрузился в воду и исчез.

Всплывая на волну, я видел далеко перед собой черный шарик – голову пловца. Однажды, в какой-то миг прекрасный, в капле воды, застрявшей в ресницах, а потому показавшейся огромной, я увидел девичье лицо, окруженное тугой резиной шапочки. Можно было хорошо разглядеть выражение лица: спокойное, отрешенное. В глазах и в печально опущенном рте пряталась непонятная улыбка.

Я увидел девушку, а она меня – нет. Не в этом ли причина дальнейшего?

Но вот мы сблизились, я крикнул:

– Добрый вечер!

Девушка в шапочке сплюнула воду и спокойно сказала:

– Добрый.

Она продолжала улыбаться. Впрочем, нет, – мне казалось, что она продолжает улыбаться. Она проплыла неторопливо мимо меня к берегу. Я сделал нескладное движение, в результате чего в ухо залилась вода, и поплыл вслед за девушкой. Я уже ни чего не в силах был с собой поделаться. Потерял волю, хотя пока что все это выглядело вполне прилично. Мог же человек, поплавав, вернуться на берег, а также и представиться новой знакомой, раз уж все равно вместе плывут.

– Я Сережа, а вы?

– Наташа, – донесся сквозь пробку в ухе её как бы далекий голос.

– Сказочный вечер, – проговорил я. – Море похоже на кисель с молоком, а?

– Хм...

Я настаивал:

– Как в русских народных сказках – молочные реки в кисельных берегах.

Вода из уха вылилась, в ухе стало горячо.

Мы плыли совсем рядом, наши руки в момент гребка сближались, и я чувствовал своей кожей кожу её руки через тоненький слой воды.

Князь беспокоился на берегу, высматривая нас, и казался совсем маленьким. Его трудно было различать на фоне темного обрывчика. Иногда только он вдруг освещался довольно сильным светом, словно кто-то направлял на него солнечный зайчик, и, самое удивительное, я даже не пытался осознать это явление.

Я понятно выражаюсь?

Небольшие и старые Крымские горы превратились в силуэты, и стеклянное небо за ними светилось. Низко над горами шмыгали ласточки, крошечные, как молекулы. Птицы находились, конечно, не над горами, а гораздо ближе, до нас долетали ослабленные расстоянием их резкие, неприятные посвистывания, словно они вредничали.

Попытка поймать Наташину руку не увенчалась успехом. Прочтя мои мысли, она сделала сильный рывок и стала для меня недостижимой. Я снова подплыл к ней, уравнивал дыхание.

– По. Дожди. Те...

– Устали?

– Немно. Гоус. Тал...

– Плыть можете?

Я не ответил, и до самого берега хранил молчание.

Её одежда лежала за камнем, скрывавшим девушку по колена. Склонив коротко остриженную светловолосую голову, Наташа медленно вытирала полотенцем длинные ноги от щиколоток до края купальника. Смущенный великолепием незнакомки, князь в отчаянии громко восклицал:

– Старик, это же чудо! Нет, действительно, старик, – это же чудо!

– Охотно верю.

Поверх купальника Наташа накинула платье, как халат, застегнула одну за другой снизу-вверх все сто пуговичек, запихнула скомканное полотенце в резиновую сферу шапочки и, обращаясь к князю, сказала:

– Я ухожу. Счастливо оставаться.

– Мы вас проводим, – сказал я.

Неопределенное поднятие одного плеча.

– Тем более князь от вас без ума.

– Старик! – Он в панике уронил ружье, и оно музыкально ударилось своим полым алюминиевым телом о звонкую гальку.

– Кстати, познакомьтесь!

Торопливо подобрав ружье, князь приблизился к Наташе с готовностью, встревожившей меня, и они обменялись рукопожатием.

Я протянул руку:

– И со мной!

Она весело посмотрела на меня – её улыбка исключала какую бы то ни было между нами интимность – и слегка тряхнула мою руку своей крепкой рукой. Прикосновение длилось несколько секунд. Наши ладони уже было разъединились, но тут подушечки моих пальцев ощутили некоторую странность ногтя на ее безымянном пальце. Он был деформирован. Наташа сразу же мне стала ясна, то есть, по ладони и пальцам я реконструировал ее всю, и именно это знание, столь неожиданно и внезапно приобретенное, так надежно поддерживало меня в наших дальнейших отношениях.

Князь что-то заметил и от волнения снова уронил ружье.

– Что это? – спросил я, стараясь задержать ее руку, но мне это не удалось. Рука уже отлетела и спряталась за Наташиной спиной.

– Дверцей прищемила.

– Холодильника?

– Автомобиля.

Все это тоже дало импульс к реконструкции – не тела на сей раз, но судьбы, и, безусловно, я что-то очень важное увидел тогда в ее судьбе, и это тоже поддержало меня в дальнейшем.

Тем временем разворачивался разговор.

– Почему у вас такое прозвище – «князь»?

Вопрос был обращен к князю, но я не дал ему ответить.

– Это не прозвище, – сказал я.

– А что же тогда?

– Он действительно князь.

– Да, я действительно князь, – быстро проговорил мой друг, давая понять, что сам желает говорить о себе с Наташей, без посредников. Я понял это и отошел на второй план, а князь продолжал, уже совсем другим голосом, тихонько и немного грустно:

– Мои предки – чистокровные князья. После Великой Октябрьской социалистической революции нас раскулачили.

Над его коротко остриженной головой возник оранжевый диск размером со столовую тарелку и толщиной приблизительно миллиметров пять. Диск излучал несильный свет. Вся фигура князя осветилась, словно опять на него кто-то навел зайчик, но теперь ужас шевель-

нулся во мне, точно ветром пахнуло из Вечной пустоты. Я взглянул на Наташу. Она ничего не замечала. Желтоватый блик лежал на ее нежной щеке. И я успокоился.

Диск некоторое время провисел над головой князя и, может быть, вообще бы не исчез, однако на него стали обращать внимание, а в таких делах один нескромный взгляд все может испортить. Я лишь на миг отвлекся, а когда снова взглянул – светящегося диска уже не было. Наступили сумерки...

Неустроенный, неудачливый писатель ищет Бога. Поиски и вытекающие из этого поступки делают его персоной нон грата в издательствах и, как горькое следствие, в бухгалтериях. Работы его отвергаются – пьеса, роман, стихотворения, заметки.

Плохо!

И тут появляется Бог. Это Христос, посещающий всех, кто о Нем думает, во всех странах и во всех временах – как давно прошедших, так и в далеком будущем. Бывает Он и среди людей, живущих до его Рождества, но все-таки уже тогда неосознанно мечтающих о Нем.

Сейчас же Он здесь.

Богу холодно в своих легких одеждах среди морозной Москвы в коммунальной квартире у нищенствующего литератора...

– И чем же вы сейчас занимаетесь, князь?

– Биологией.

Они оказались коллегами и оживленно беседовали, пока я размышлял о чем-то своем, сокровенном, а именно – о том оранжевом диске. Ничего, казалось бы, странного, диск как диск, да вот излучал он свет, не будучи прозрачным и не будучи раскаленным. А раскаленным он не был, можете мне поверить. И явно этот свет не был отраженным, а исходил от самого диска. Просто-напросто не было такого источника света поблизости, свет которого мог бы отражаться. Не лампочка же на столбе возле ларька, торгующего кое-чем, в том числе и местным вином. Пусть тот, кто не верит в Великую пустоту, рассмотрит этот вариант.

– Старик! – воскликнул князь, торопливо почесав темечко указательным пальцем. – Мы, биологи, самая распространенная разновидность человечества.

Пропускаю рассказ о том, как Наташа заинтересовалась любопытным датчиком, придуманным находчивым князем для какого-то уникального биологического опыта, и как князь с восточной щедростью тут же поклялся сделать такой же прибор для ее биологических опытов. Кто я был рядом с ними? Жалкий чтец в человеческих душах. Но она была на крючке у меня, а не у него, а уж у неё на крючке были мы оба!

Ворота дома отдыха. К одному из столбов, сложенных из серого камня, проволокой прикручена облупившаяся вывеска: «Посторонним вход строго воспрещен». Не рассчитывая на наше с князем благоразумие, администрация здесь же поместила жестяную дощечку несколько меньших размеров с предупреждением: «Злые собаки».

Ну, это уже поклев на бедных животных. Целыми днями собаки торчали на балюстраде возле столовой, были добры, суетливы и помимо того, что перепадало им как от отдыхающих, так и от случайных прохожих – администрация не в силах была пресечь поток диких поселенцев по общественной дороге вдоль моря – с удовольствием поедали персики.

Ну, скажите, пожалуйста, может ли быть злой собака, которая употребляет в пищу персики?

Мы дождались, пока Наташа поужинает в своей столовой, а потом до закрытия просидели в чебуречной, где мы с князем ужинали чебуреками, а Наташа с нами только пиво пила, а потом еще долго-долго сидели у моря на остывшем пляже, и нам жутко спать хотелось, но и расстаться сил не было. У нас с князем, во всяком случае.

Но вот Наташа решительно поднялась с песка и отправила нас спать.

Мы шагали в темноте по безлюдным улицам этого дивного поселка у моря сквозь упительное верещание кузнечиков (точно мириады невидимых милиционеров отчаянно дули

в свои свистки, гоняясь по горам за невидимыми правонарушителями), осыпаемые звездным дождем и провожаемые звонким лаем объевшихся персиками и искусанных блохами якобы злых собак. Товарищ мой был задумчив, и по тому, как он несколько раз обращался ко мне со словом «старик», но дальше не продолжал, понятно было – мыслями его владеет Наташа.

Всю неделю мы каждый день, как на службу, уходили «на камни».

Там было (да и сейчас, наверное, тоже) прекрасное купание. Глубокое море, подводные пещеры, жесткие, словно проволочные водоросли, острые черные ракушки мидии, стайки рыбок. Наташа натягивала на голову резиновую шапочку, прыгала с трехметрового камня в воду и плыла в сторону открытого моря. Я прыгал за ней и, сбивая дыхание, с трудом догонял – очень уж быстро она умела плавать – и пристраивался рядом.

Как-то, еще в первые дни, когда Наташа вырывала свою руку из моей руки, и когда князь по вечерам наряжался в белую рубашку, мы с Наташей плыли вроде бы наперегонки. Это она навязала. Я изо всех сил старался, а догнать не мог. Тут я забыл обо всем на свете, зажмурился и нажал, как следует. Руки и ноги у меня начали неметь от усталости, а я все плыл и плыл и, когда понял, что еще секунда и – конец, оглянулся. Наташа осталась сзади довольно далеко. Капля воды, мой верный телескоп, приблизила ее лицо. Наташа смотрела на меня, и уголки губ были печально опущены. Меня в сердце что-то ударило, очень сильно, но я только сотрясение почувствовал, не боль, и в то же время такую легкость, что вот-вот взлечу из воды, и немислимую горечь, словно меня ждет большая беда.

Медленно плыл я к ней, еле-еле, поравнялся и, не останавливаясь, поплыл дальше, не сказав ни слова, а она подстроилась рядом и так же медленно поплыла. Здесь всегда были волны, вернее – крупная зыбь, она била в лицо, поэтому мы не разговаривали.

Иногда я скашивал глаза и видел через зеленую, пронизанную солнцем воду Наташины руки и лицо, окруженные пузырями воздуха. Что со мной тогда творилось? Я с одинаковым успехом мог разреветься и рассмеяться от переполнявшего чувства, и во всем мире для меня существовала только эта женщина – печальное и спокойное существо, без нее я не жил до сих пор и без неё жить не буду никогда.

Первое время князь еще на что-то рассчитывал, ходил гордый, со мной обращался снисходительно, обрывал мои шутки при Наташе и сам шутил очень редко. По все же шутил, был, так сказать, строг, но справедлив. (Всю эту чепуховину повторять, возрождать из пепла бессмысленно.) По утрам князь стирал свою нейлоновую рубашку и вечером надевал, когда мы шли к столовой дома отдыха на свидание с Наташей. В темноте наши обгоревшие лица казались коричневыми, а не красными, как в действительности, и если прибавить к этому белоснежный воротник княжеской сорочки, то можно представить, как князь был хорош.

– Князь, ты прекрасен как бог!

– Серьезно, старик, ничего?

Он на полкорпуса выдвигался вперед, чтобы лучше можно было его рассмотреть. В сумраке, на безлюдной аллее, когда князя не с кем было сопоставить, и не так бросался в глаза его небольшой рост, он выглядел прекрасно, стройным и элегантным. Не нужно было кривить душой, чтобы сказать:

– Князь, ты практически неотразим!

– Старик, заткнись!

Такие разговоры его смущали.

И князь на полкорпуса отставал, чтобы уйти из поля моего зрения.

В темном углу балюстрады возле крашенного белой масляной краской фанерного ящика, где администрация держала под замком пианино, мы усаживались на скамейку спиной к морю, которое мутновато темным цветом напоминаю заезженную грампластинку с красной лунной дорожкой.

Большую красную луну, которая не имела сил ничего вокруг осветить, кроме самое себя, да и то не вполне, покрывали как рентгеновский снимок, какие-то темные неразборчивые пятна, кто-то невидимый высовывал из-за черного горизонта неподалеку от черного причудливого мыса.

Там, у нас за спиной, все было обычное и малоинтересное. Другое дело – ярко освещенные окна столовой, где за прозрачными занавесями передвигались полулюди – полутени. Оттуда струился веселый галдеж, и мы различат так же тихую музыку из транзистора. Это древний старик профессор в войлочной шляпе, сидевший за одним столом с нашей дамой, слушал «Спидолу».

Ставил ее на стол возле тарелки и – слушал.

Ах, как много было транзисторов – и советских, и японских, и западногерманских, но слышался только один – «Спидола» профессора. Когда звуки музыки становились яснее, мы понимали – Наташа отужинала, и профессор, захватив свой транзистор, плетется за ней на волю.

Наташа пробиралась к нашей скамейке между нарядными дамами, от которых немислимо пахло духами, улыбалась, говорила «добрый вечер» налево и направо. В отдалении за ней плыла войлочная шляпа профессора. Несколько минут мы все, молча, сидели на скамейке. Я находил прохладную Наташину руку и гладил своим пальцем ее деформированный ноготь. Я чувствовал, как Наташина рука теплеет, а моя рука пылала огнем. Уголки Наташиных губ опускались, лицо делалось таким печальным, что мне хотелось защитить ее от всего мира, но от кого именно я должен был ее защитить – неизвестно!

Слово за слово, и между профессором и князем завязывалась увлекательная беседа о музыке. Профессор улыбался своим худым и черным в темноте лицом и, чуть наклонясь к собеседнику, говорил:

– Люблю джазик!

Ах, как это прекрасно – услышать такое признание от человека, чье имя с почтением произносят ученые всего мира. Вот оно, истинное величие, простое и грустное, как сама жизнь. Вне всякого сомнения, профессор полюбил Наташу, и князь помогал ему переживать любовную драму. Ведь его Наташа не любила!

Князь своим спокойным, рассудительным тоном, каким, наверное, пользовался во время семинарских занятий с молоденькими биологинями, говорил в том роде, что джаз – это хорошо, и то, что профессор любит джаз, – это тоже хорошо и определяет профессора с очень хорошей стороны, и пускался в теоретические разговоры о природе и отличительных чертах джаза.

– Их несколько, отличительных черт, – замечал он и по пальцам пересчитывал признаки джаза. Последним оказывался термин «Голубая нота».

– Голубая? – переспрашивал профессор.

– Да, голубая, – твердо произносил князь и, словно бы закрывая тему, добавлял: – Голубая нота!

Наступала тишина; море, разумеется, продолжало запускать реактивные самолеты, их гул возникал где-то далеко, в темноте, нарастал, достигая наибольшей силы у нас за спиной и укатываясь дальше вдоль берега, и вскоре все повторялось.

Мы слышали тихие, какие-то восторженные восклицания профессора:

– Чудесно! Чудесно! Голубая нота! Это чудесно! Ах, как эго чудесно, не правда ли? Голубая нота...

Мы с Наташей поднимались.

– Наташе здесь холодно, – объяснял я. – Мы за кофтой.

– Только недолго, слышишь? – просил князь.

– Мигом, – отвечай я, и мы исчезали.

Наташа жила в комнатухе со скошенным потолком, и вела туда крутая лестница с высокими ступенями. Обычно такие комнаты под крышей называются голубятнями. Так она и здесь называлась. При ней находился маленький балкончик, где на старом плетеном стуле сидела тихонькая Наташина соседка. Поначалу я думал, что она старуха, но это впечатление оказалось обманчивым. Ее и пожилой не назовешь. Просто женщина не первой молодости. Одевалась она по-старушечьи и кое-как причесывалась. Но, конечно же, не во внешности дело, а в ее внутреннем представлении о самой себе. Ведь это передается окружающим.

– Гулять? – спрашивала она, когда я выходил на балкончик, чтобы не мешать в комнате Наташе.

– Гулять, – смиренно отвечал я. – Пойдете с нами?

– С удовольствием.

– Сейчас Наташа утеплится, и – пойдем! – говорил я.

Наташе действительно было холодно, и мы действительно взбирались на голубятню за кофтой.

Как же события развивались дальше? А вот смотрите.

Я втискивался в комнату, помогая задвинуть чемодан под кровать, и мы уходили, забывая соседку. Проходя по узкой аллее под балкончиком, где темнела фигура соседки, я громко произносил:

– Аривидерчи.

– Гуд бай, – отвечала она, и можно было слышать мягкие, удивительно хорошие смешки, по которым легко реконструировалось спокойное и высокое состояние ее духа.

(Впрочем, иногда ее дух реконструировался, как подавленный, даже трагический...)

И вообще, это превратилось в игру – я приглашал соседку вместе с нами на прогулку, а уходили мы без нее.

Народу в поселке было полным-полно. Ночами, когда мы ходили купаться, на пляже отдыхающие толпились, и прожектора пограничников освещали сразу десятки голов, шариками плавающих на поверхности зеленой, как в бассейне, воды.

Мы запаслись помидорами, огурцами, сыром, хлебом, солью и на весь день удалились в дальнюю бухту, за камни. В три бухты можно было пройти берегом, в четвертую же нужно было плыть, огибая скалу. В чернильной воде с голубыми медузами, висящими под поверхностью воды, как осветительные приборы, и с белыми камешками на дне, которое, по существу, не было основным дном, потому что еще ниже светились фосфорическим светом другие белые камешки, наши зеленоватые тела казались маленькими и беззащитными. Отвесные скалы, освещенные мутными бликами и поэтому как бы призрачные, отражали тишину. Вослицания были тихи, как в комнате.

И снова казалось, что во всем мире только и есть, что мы с Наташей, а князь в маске, лапах и с подводным ружьем, да еще три-четыре человека из нашей компании, хотя формально и присутствуют, по существу, находятся в другом измерении, как второе изображение, случайно сфотографированное на первое.

Но вот жизненная правда победила, и мы с Наташей полезли вверх по узкому крутому ущелью, намереваясь вернуться домой «по верху», в то время как остальные возвращались берегом.

Мы выбрались на ровную, как крыша, площадку, засыпанную чешуйками горной породы, и, помогая себе руками, как животные, двинулись вверх по наклонной поверхности. Там, вверху, требовалось перебраться на другую поверхность, почти горизонтальную, и уже по ней выйти в безопасное место. По всему длинному склону из-под наших ног текли струйки породы, разветвлялись, шумели, и каждый даже самый маленький камень, несущийся кувыркком вниз, пугал нас. Мы видели, оглядываясь, сине-седое море, отделенное от нас пластом мутно-

вато-жемчужного воздуха, и ровный край плоскости, за которым был обрыв. Так что камень, срывающийся вниз, как бы предвосхищал наше собственное падение.

Добравшись до верхнего края площадки, я подтянулся на локтях, лег животом на осыпающийся край и, схватив сухой пучок травы, еле-еле державшийся, как мне казалось, в рыхлой и сухой почве, на какой-то миг почувствовал всю нереальность своего положения и в то же самое время всю жесткую и неумолимую реальность потери равновесия над отвесной стеной кратера вулкана, куда переместился клин всего мира.

Но все это длилось какое-то мгновение. И вот я уже перевалился всем телом на горизонтальную площадку и протянул руку Наташе, но она и без моей помощи обошлась.

Через час мы уже были в поселке, и в памяти продолжал звучать безысходно-печальный крик пастуха, созывающего стадо в долине, уже до половины заполненной темнотой, окруженной древними вершинами, освещенными вечерним солнцем, такими божественно рельефными на фоне голубого, почти белого неба.

Князь поздно вернулся домой в этот вечер. Я лежал в темноте, не включая света, чтобы мотыльки не налетели, и не мог заснуть.

– Спишь? – тихонько спросил он, чтобы не разбудить, если сплю.

– Не-э... – промычал я.

– Простить себе не могу! Представляешь? Ската упустил!.. Слышишь, старик?

– Угу...

– Блеск, а не скат... Но ведь ты – спишь?

Мне показалось, что я действительно сплю, хотя и не спал – ведь слышал же я князя.

Князь молча разделся, разложил амуницию и рухнул на свою кровать. Наступила полная тишина в комнате.

– Старик, спи! – воскликнул князь, словно бы и паузы такой длинной не было. – Спи крепче, а утром ты кое-что узнаешь. Что? Могу и сейчас сказать. Так вот, слушай. Я окончательно выпал в осадок. Я мог бы сильно до гроба полюбить эту женщину, но в данном случае наука бессильна. Она – твоя!

– Не уверен, – сказал я, а может быть, и не сказал.

Князь действительно выпал в осадок, нашел себе сообщников, и с утра пораньше отправлялся на морскую охоту, а мы с Наташей не расставались целыми сутками, не считая нескольких часов, когда отсыпались. Утром, после завтрака мы валялись на пляже, дремали, плавали, даже, кажется, в картишки играли с одной счастливой семейной парой, милыми молодыми людьми: голубоглазым блондином с нежным загаром и широкими плечами и длинноволосой брюнеткой с зелеными глазами и темным румянцем на худощавом сильно загоревшем лице. И зубы у них были чудесные, точно кукурузные зерна в молочно-восковом початке. Сравнение само собой напрашивалось, когда они вгрызались в кукурузные початки. Их продавал тут же на пляже симпатичный местный парнишка с выгоревшими вихрами и в трусах такой ветхости, что все его устройство было на виду.

За час до Наташиного обеда мы вдвоем отправлялись в чебуречную.

В это жаркое дневное время в чебуречной никого, кроме нас, не было.

Мы садились за столик возле раскрытого окна и, овеваемые ветерком, попивали из гра-  
нених стаканов кисловатое пиво. Старик буфетчик, который знал про нас больше, чем мы сами про себя знали, с печальной доброжелательной улыбкой посматривал из закутка, где сидел на табуретке и что-то писал или читал, и только его поседевшая голова виднелась над прилавком.

Потом, одуревшие, мы шли через выжженный солнцем пустырь по звенящей сухой травой к морю.

Море было густо-синее, покрытое продолговатыми клоками белой пены, тревожное, словно бы ночное – так я чувствовал, – хотя была до обморока яркая середина дня, «афтенун», как говорила Наташина соседка.

После обеда, дождавшись Наташу, я провожал ее до голубятни, а сам плелся с территории дома отдыха в поселок по пыльным, засыпанным галькой дорожкам. Все было скучно – дорожки, и акация, и миндаль вдоль дорожек, но именно в этой скуке таилось невысказанное, умопомрачительное счастье. Между тем где-то в другом измерении и другой географической точке, однако, в то же самое время, мой братец дослуживал свой срок.

И больше о нем – ни слова пока что...

Моросил дождь, мы шли по мокрому московскому скверу. Под фонарями блестели ветки деревьев с остатками листвы. Дорожки и скамейки завалены были опавшими листьями. Некоторые листья совсем еще зеленые. И чего им не виселось?

Нам некуда было податься, и мы, миновав сквер, вышли на улицу, продолжая торопливо целоваться. Я не хотел отпускать Наташу, не хотел расставаться с ней никогда – и все! Но проводил ее до дома, и мы еще долго стояли в подъезде между дверьми, прижавшись друг к другу, стараясь сохранить наполнявшее нас то, южное, тепло.

А ведь она была кем-то из кордебалета обезьянки, как сказал по другому поводу один из героев гражданина Набокова. Кто читал – знает.

Мы провели чудесное воскресенье за городом. Был теплый день бабьего лета. Солнце пекло, как летом, и мы шагали бок обок по лесу, засыпанному опавшей листвой.

Шел мужичок с чистым личиком, в сером не по росту просторном пиджаке и с коробом, наполненным прозрачными пакетами с жареным картофелем. Мужичок проворно выхватывал из короба пакет за пакетом, разрывал целлофан и высыпал на землю хрустящие кружочки. Он был Осень.

В небе – белые, совсем летние облака. Да вот перемещались они быстрее, чем нужно, и совсем не в ту сторону. И когда заслоняли солнце, становилось вдруг мрачно-мрачно и очень холодно.

...с небес валил снежок, ворвался в бронхи ледяной и пряный из Коми прилетевший ветерок...

Мы с ней разговаривали, но я совсем не помню, что именно она говорила, потому что прежде, чем что-нибудь сказать, она называла меня по имени. Просто называла, и все. Окликала. А когда любимая женщина произносит твоё имя, то у тебя сердце начинает стучать, в голову кровь бросается.

К станции вышли, пройдя через березовую рощу. Я и не вспомнил, что где-то неподалеку – футбольное поле в лесу. В станционном буфете, набитом грибниками, выпили пива, а потом набитая теми же грибниками электричка довезла нас до города.

В кухне аспирантского общежития (в конце темного бесконечно длинного коридора) аспирант-узбек готовил плов, и поэтому коридор наполнен был белым дымом сгоревшего масла. Запах дыма чувствовался и в холостяцкой комнате князя.

– На днях снимаю комнату. Это не так просто, но возможно. Я имею в виду снять комнату возможно. Да?

– Наверное.

– И мы – поженимся. – Молчание. И потом: – Где князь?

– Под кроватью.

И Наташа знает, что сделала? – свесилась и заглянула под кровать. И я тоже свесился, так что мы с ней вместе видели мерцающие во тьме лапы, маску, плавки, превратившиеся в каменный комок, грязную нейлоновую рубашку – жалкие обломки лета.

Долго слышались хождения загулявших аспирантов за дверью, и ужасно грустным казался мне открывающийся в окне вид нового городского района: зеленовато-синие дома со слюдяными окошками...

...Зимой мы поссорились. Наташа была нерешительна, отмалчивалась, в глазах стояли слезы, я нервничал, кричал, и редкие ночные прохожие оборачивались на нас. У меня было чувство, словно между нами огромное стекло. Мы отлично видим и слышим друг друга. Мы скользим вдоль этого бесконечного стекла, и на его невидимой поверхности – то с моей стороны, то с её – возникают летучие, мутные от мороза блики, внезапно скрывая нас друг от друга.

Обледенелый асфальт блестел под фонарями.

У меня от мороза ноги ныли в легких носочках и тонких туфлях, руки окоченели, нос щипало, а Наташа – безмолвствовала!

– Ты обязана решиться, наконец, слышишь?

И еще:

– Это глупо. Это идиотизм, слышишь?

Наше свидание продолжается вечно на бесснежном морозе и никогда не кончится.

– А ты – решился? – спросила вдруг Наташа.

От ярости я чуть не задохнулся.

– Послушай! – закричал я. – Это невысказанно! Почему все время я? Мне нечего решаться, не обо мне речь! Ты должна решиться, только ты!

Сейчас оно лопнет и с нежным треньканьем посыплется на асфальт. Нет, не с нежным! Оно рухнет, разлетится на куски, со страшным грохотом трахнет о мостовую, о скрюченные деревья. Лишь морозная пыль останется. Больше ничего!

Легковой автомобиль, затормозив, развернулся и тихонько тюкнулся в столб. На асфальт с нежным треньканьем посыпались осколки фары. Но мы не обратили внимания на эту крошечную катастрофу.

Наташа молчала и была непроницаема. Мы холодно расстались, и через какое-то время, отогреваясь в тепле, я злорадно думал, что и ей где-то там тяжело сейчас, как и мне. Между прочим, я у неё спросил много-много лет спустя, неожиданно встретившись с ней приблизительно в том месте, где машина в столб врезалась (в этом месте я до сих пор высматриваю на асфальте осколки разбитой фары):

– Как ты ко мне относишься?..

Губы у неё печально опустились, прекрасные глаза подернулись чем-то таким странным, скорее несуществующим, чем реальным, и она с нарочито наигранным оживлением воскликнула:

– А что? Ты мне нравился!

Я готов был ответить ей теми же словами, только она меня не спросила.

Так будет через много-много лет, а пока что я сижу в своей тесной, как железнодорожное купе, комнате с кушеткой, письменным столом и книжной полкой. Настольная лампа освещает белые, нетронутые листы бумаги. От звуков джаза заметно вздрагивает деревянный ящик радиоприемника. Зеленый глазок индикатора в удивлении то сжимается, то расширяется, недоумевая, когда же эго, наконец, помехи прекратятся! А может быть, мой приемник не приспособлен к воспроизведению голубой ноты и всякий раз при ее появлении начинает трещать?

Жду, безнадежно жду чего-то и, когда кончается курево, выхожу из дома.

Шагаю по заснеженным московским улицам, а представляю ночной поселок у моря.

Пляж обледенел. В ледяную корку вмерзли монеты, еще летом брошенные отъезжающими на прощание в ласковые волны и отторгнутые целомудренным морем, противником всяческого язычества.

Штормовые волны заливаются в узкую щель дороги, прорубленную в горе. Во тьме несутся траурные тучи. Вокруг ни огонька, ни одной живой души. Если что и осталось от прежнего, так это море. Пусть оно бушует, но внутри оно прежнее, спокойное и теплое.

Но что это?

По дорожке под полу облетевшими деревьями плетется профессор в зимнем пальто до пят, в темноте мерцает светленький бок «Спидолы». А на балкончике голубятни в темном проеме распахнутой двери темнеет фигура закутанной в шаль соседки.

Я знаю дом, где все они теперь. Стоит в лесу среди сосен красных терем. Все мы, пока не затворят за нами дверь, в его существование не верим. Шагает старец в шапке-пирожке, в пальто громадном, в валенках, галошах. Сукно его пальто от глаз моих в верхушке, и странный ветерок снежком глаза порошит, мои глаза снежком с его воротника. Проходит он неслышно и невидно, и сердцу до ужасного обидно, что встреча так нелепо коротка. Любовь и грусть мою сжимают душу, когда они тихонечко идут, не зная, что я вижу их и слышу, не ведая, что я могу быть тут. Они идут спокойно среди сосен, толпа живых людей идет сквозь них. Тот терем совместился в эту осень с обычным общежитьем для живых. Весь этот люд, теперешний и бывший, в одно пространство замела метель, но все-таки живой – корабль уплывший, а мертвый – севший намертво на мель. Корабль – фрегат, к тому же он и терем, и он же общежитье для живых. Бегут неслышно волки мимо двери, как барышни в наколках кружевных...

Бросаюсь в сторону, продираюсь сквозь жесткие ветви на соседнюю аллею. Здесь меня не найдут, не спросят о Наташе. Ведь я сам не знаю, где она, сам ее ищу.

Мотороллер дернулся, фыркнул и, легко ткнув меня в колено, замер как вкопанный.

Я очнулся. На обшарпанном драндулете с множеством царапин и вмятин восседал щеголь в огромной меховой шапке, светлом в клетку итальянском пальто-реглане и протягивал мне красную ручку, обветрившуюся на зимнем ветру.

– Старик, привет!

– Князь, ты ли это?

– Как видишь.

– Ты практически неотразим!

– Теоретически, – быстро проговорил князь. – А практически – наоборот.

– Как жизнь складывается?

– Старик, страшное дело! Месяц из лаборатории не вылезал. Там же и спал. Если бы не молоденькие практикантки...

Ах, знал бы он, как потеплело у меня на душе от этой неожиданной встречи возле иллюминированного кинотеатра в ужасные одинокие девять часов вечера. Оборвав на полуслове эротическую историю и игриво подмигнув сразу двум девушкам (они шли навстречу друг другу и по случайности возле нас совместились), князь посерьезнел, деловито шмыгнул носом и спросил:

– Как у тебя с Наташей?

Внезапно я почувствовал тошноту. Силы покинули меня. Но я все же не рухнул, удержался на ногах, и мой приятель ничего не заметил. Тем более что мне удалось равнодушно ответить:

– Никак.

– ???

– Об-сто-я-тель-ства...

Князь засунул руки в карманы пальто и поежился. Сидя верхом на своем салатного окраса аппарате, он выслушивал мое донесение точно главнокомандующий, терпящий фиаско. Он явно был мной недоволен.

– Человек должен быть выше обстоятельств.

– Ты находишь?

– Обстоятельства – чуть ли не единственное в подлунном мире, над чем я возвышаюсь. Что он имеет в виду? Неужели свой маленький рост?

Князь заторопился, попытался завести мотороллер, не слезая с мотоцикла, но каблук соскакивал с заводного рычага.

– Постой, дай-ка я!

Я ударил рычаг подошвой, тот спружинил было, но все же поддался, двигатель, фыркнув, затарахтел, мотороллер рванулся, и уже издали князь крикнул:

– Счастливо, старик!

И еще что-то, но я не разобрал.

Таков был теплый бульон моих переживаний, а вот в суровой действительности в это время происходило следующее. (Речь снова пойдет о моем братце.)

Отслужив срочную, он демобилизовался.

Дома появился внезапно – распахнул дверь, шагнул в комнату, и его матушка оцепенела от счастья. Даже чайная чашка выпала из вдруг ослабевших пальцев и расколола блюдце. Прозрачная жижица быстренько потекла с клеенки на юбку. Ладный такой морячок в тесном бушлате широко улыбался, шире некуда. Не мог он сдержать эту непобедимую улыбку, сил не хватало – так был счастлив и так устал от дороги и от волнения. И происходит следующее. Прошу внимания. Заметим, что он еще не поздоровался с матерью и вообще еще ни слова не произнес в Москве. И всю дорогу промолчал. Последний же раз на Севере говорил, прощаясь с товарищами. В комнате – тишина.

– Дома папа? – спросил он весело и нетерпеливо.

Толстая еврейка, мамаша его, пошатнулась.

– Боже мой, Боря! – закричала она. – Что ты говоришь! У тебя давно нет отца, он на войне погиб, ты же знаешь. Его убили!

– Его убили, – все еще улыбаясь, произнес братец. – Знаю.

И – зарыдал.

Лирический герой (или антигерой) настоящего повествования вспомнил редакцию журнала и разгоряченного руководящего им писателя, чью книгу в тот период сочиняла и правила вся редакция. Огромный роман. Один поправлял диалоги, другой исправлял надежи, третий придумывал названия глав. Писатель приехал с важного заседания с телевидением и выступлением высокопоставленной партийной шишки. Заскочил в редакцию, некое уютное здание на старинном московском бульваре, и приятно стало. Вечер, снаружи окна светятся, а внутри сотрудники делом заняты, его эпопею пишут.

Хорошо!

Людишки, конечно, мелкие, продажные, сволочь народец, а все же молодцы!

Прошел по редакции, заглядывая в комнаты.

В одной из комнат увидел склонившегося к рукописи всклокоченного молодого человека.

«Это еще что за фрукт», – подумал, было, редактор, но тут же вспомнил, что это начинающий литератор, который принес свой рассказ, и, вместо того, чтобы погнать его каленой метлой, с ним здесь начали возиться.

«А, черт с ним, пусть...»

А начинающий литератор, наш герой (или антигерой), тем временем работал над шлифовкой своего рассказа, так, увы, забегая вперед, скажем – и не увидевшего свет. Что, собственно говоря, и понятно. Бред какой-то – возвращается из армии парень, сын героя войны, отдавшего за Родину самое дорогое – жизнь, и неожиданно задаёт родной матери вопрос, дома ли его батька. Как вам это понравится! Прямо-таки не Советский Союз, а Калифорния какая-то. Всякие там инфантильности у плешивых и беззубых сорокалетних мальчиков, и девочек: «пойду попикаю, пора кушаньки, бай-бай» и прочее в том же духе.

Заместитель редактора, упитанная, очень упитанная женщина с болезненно здоровым аппетитом, говорит:

– Вы должны помнить, как это говорилось в «Алисе в стране чудес». Помните, Графиня спрашивает: «А какая в этом идея?» А?

«Ничего я не должен! – думал он. – Какая там Алиса! Ты-то чего, толстуха, трогаешь Алису! Алиса моя. Алиса – моя философия и любовь! А ты – сочини свой своему начальству эпопею да помалкивай!»

Ни один сюжет не был придуман им самостоятельно. Он слышал о том или ином происшествии, и это происшествие само находило себе место действия, обличье, погоду, время суток и так далее из его реальных наблюдений. Все элементы в отдельности были реальны, но, сложенные вместе, представляли несусветную чепуху, ахинею. (Так, во всяком случае, отдельным приличным гражданам представилось бы.) Да чего там далеко ходить – взять хотя бы сюжет с лилипутами.

Выше или ниже (не нужно зачеркнуть) уже упоминались фурункулы...

Так вот, он, этакий морячок с пассажирского парохода кое – как присел на краешек стула в ожидании рюмки марочного массандровского портвейна. Взять бы что-нибудь подешевле, да ничего в роскошном кафе не было, кроме марочных массандровских вин да коньяка, а уж он-то совсем не по средствам бедному моряку, замученному болячками.

Террасу только что застеклили. Раньше была открытая, продуваемая слабым морским ветерком, теперь же от духоты нечем дышать. Поэтому – то и официантки все сонные, какие-то замусоленные, что ли, в коротких словно бы замызганных юбочках.

«Моя» официантка была бледная, с подпухшим личиком, однако, черт подери, излучала нечто такое, что в моем сознании все стало путаться...

А ведь отчего так случилось? Оттого, что она не сразу взгляд отвела, а задержала, и ей показалось, что я беспрепятственно проник в ее сознание и расположился в нем. Потом она, разумеется, взгляд отвела, но непроизвольно облизнулась и потом на меня поглядывала из жаркого сумрака, так что я видел ее взгляды сквозь пот, заливающий мои глаза.

Портвейн так чудесно проехался по внутренностям, омыл их, что я проклял нашего судового доктора. Зачем не велел алкоголь употреблять? Чтобы скорее зажило? Дурачок он, доктор. Так и так пройдет. Я вторую рюмку попросил, третью. Уже и деньги кончились, да тут лилипутик стакан коньяка мне поставил и все ждал, пока я выпью. Его я ой как понимал, иногда сам готов поставить первому встречному – только бы высказаться...

А вот лилипутик ой как ждал помощи, да не знал, как к делу приступить. Пока я наслаждался коньяком, он поведал, что он – человек более или менее обеспеченный и, будучи членом профсоюза работников искусств, рад бы от всей души предьявить свое удостоверение, да вот (лилипутик понизил голос) – «один человек» отобрал ксиву и не отдает!

– И в ведомости на зарплату сам расписывается, – прошептал лилипутик и добавил: – Подписи подделывает!

– Это неправда! – твердо сказал морячок (то есть я), лицом выразив благородное возмущение.

Навалившись накрахмаленной грудкой на липкую столешницу небесной голубизны, чтобы быть ко мне поближе, лилипутик горячо проговорил:

– Пейте, пейте! Один человек может вернуться.

Едва он успел отшатнуться от меня, как за его стулом...

Короче говоря, возле нашего столика появился тот деятель, которого лилипутик называл с опаской «один человек». Ухватив малыша своими волосатыми пальцами за пергаментное ушко, деятель сдернул его со стула. Раздался писк.

Посетитель, сидя возле окна и положив ногу на ногу, читал газету. Полотняная штора вздувалась, наваливалась на плечо, точно намеревалась согнать с места. Он же газету принялся

выворачивать наизнанку, а та не желала повиноваться и даже прилипла к вздувшейся шторе. Уже одно это могло вызывать у посетителя вполне объяснимое раздражение. А тут еще неожиданно раздавшийся несусветный визг.

– Нельзя ли потише, – строго сказал посетитель, глядя поверх очков.

– А он чего! – крикнул лилипутик, но осекся, покосившись на «одного человека».

А болячки не болели. Наоборот! И официантка уже подходила и жарким плечиком к плечу приваливалась, и пароход, не слышно погудев – только пар из трубы вылетел, – попятился, мелькнул в зелени и уехал за штору. Ушел, меня оставив с болячками и пьяного с лилипутиком и «одним человеком», который вывел всех нас из кафе через черный ход по темным переходам в светлый холл, на широкую лестницу в зеркалах и коврах и ввел в ресторанный зал с пальмами в кадучках. Но лилипутик наш нарядный, старичок сердитенький, с мордочкой, излучающей что-то особое, элитарное, был заброшен в гостиничный номер – а шли мы в ресторан из буфета через гостиницу – и заперт там с остальными лилипутами и лилипутками. Там они печально сидели на нарах в два этажа, и запомнил я махонькие ножки в носочках с красной каемкой, свисающие сверху, и из темноты белое личико светилось, и глазки лилипутские блестели не то восторгом, не то горем несусветным.

Так я рассказывал по порядку, а тут перескакиваю через какое-то время и даже не знаю – действительно я этот кусок времени прожил, или он мне только пригрезился.

Ладно...

– Ну, ученик! (Улыбка, и палец – перед моим носом).

– ???

– Удивляешься?

– А чего?

– Он еще спрашивает – чего!

Прямо передо мной – мокрое круглое личико в мелких вмятинах и трещинках, залитых потом, точно резиновый мячик, только что выгашенный из воды. И чуть позже, уже усевшись, а потом и растянувшись на нижней полке, вертикально:

– Ну и козу отмочил, ученик!

Только нас двое в душном и темном твиндеке, в носовой части парохода на двух застеленных койках – с матрасами, одеялами и подушками, такими тонкими, точно из них дух вышел. Остальные пятьдесят спальных мест, пятьдесят железных сеток – пустые, необитаемые. А ведь давно ли все пятьдесят заняты были практикантами из мореходки, парнями получше нас!

Итак, я снова на своем пароходе.

Пока я довольно удачно залечивал свои болячки, пароход мой успел побывать в родном порту, выбросить практикантов и новых пассажиров взять в очередной рейс. Ну и пока пароход все эти операции производил, у меня жизнь тоже на месте не стояла.

Вспоминаю.

Утром мы с «моей» официанткой несколько раз делали то, что и ночью делали, и теперь «эти» (думаю, понятно, что имеется в виду) у меня ни капельки не болели, лишь слегка поднывали. А ведь тогда долго-долго телефон звонил, мне-то казалось, что это во сне, а подружка через меня перелезла, сосочком своим упругим по носу смазав, и оборвала бесконечный трезвон.

– Да, спит еще. Вставать? Нет, еще не собираемся, а что? Так, поняла. О'кей! Лады! Что? Ну, нет, он хорошенький! Ой, какой сладенький! Так бы съела его! Что? Хорошо, скажу, как проснется.

Сквозь сон все это я слышал.

– Этот человек (она его по имени-отчеству назвала) уезжает, и вся ихняя шайка-лейка смывается.

– Ну?..

– Да ты не волнуйся, он обещал заглянуть, попрощаться, если успеет.

Я знал, что последует. И это последовало. Она придавила меня, всем легким тельцем навалившись, так что ногами, грудью, щекой, пахом ощутил я все ее мягкости, твердости, углы и впадины...

– Это его ведущий их надоумил – ну, тот маленький, что тебе на веранде коньяк покупал.

Помолчала, чуть двинулась на мне – а в местах соприкосновения нашего горячая водичка уже завелась – и тихонечко воскликнула:

– Ведущий-то, а? Смотри-ка, целый стакан коньяка! Вот это – мужчина!

Никто не пришел прощаться, да и не собирался!

Проснулся часа в два дня, мутит, голову ломит, одеяло в пододеяльнике сбилось в комок, в номере хотя и темноватом, но просторном – никого! Кроме, разумеется, меня. Понять можно, подружка в кафе отправилась, на работу. Но как все началось, откуда малыш взялся? Да и вообще, почему гостиница, почему официантка – ах, хороша подружка, и горячая, и нежная, что шелковая! – и почему «один человек»? Малыш в моей памяти своим странным голоском тихо произнес: «Один человек».

Где он, этот человек?

Меня вдруг передернуло всего, кожа сдвинулась на каждом пальчике, на каждом суставчике! Тут уж меня жуть взяла. Знаете, все вдруг стало ясно. Ведь тот «один человек» – злодей! «Боже мой, Боже мой! Почему я не кожаный?»

Бежать, хватать злодея, спасать малышей.

В купленном перекупленном мире малыши-лилипуты искали кого-то, кто им поможет, обнаружит их неволю, изоляцию, освободит от изверга-администратора. Но этим кем-то оказался я – ничегошеньки не понявший, за что коньяком поили на крытой веранде кафе и зачем в ресторан повели и золотой ресторанной музыкой угощали и заливным – соленьким студнем с пресненской рыбой и тверденькой звездочкой морковки, не пресной, но и не сладкой, а такой, разочаровывающей...

Совсем скверно ощутил я себя, когда ключом от своего номера с тяжелой восьмиугольной звездой отомкнул дверь «того» номера – с нарами, и никого, разумеется, уже не застал. Только белый носочек с красной каемкой свисал с металлической сетки второго яруса. Да, смылся «один человек» и малышей своих убрал с собой подальше от греха.

И вдруг я – но с тех пор, ой, сколько времени минуло, целая вечность, – в голос застонал, сел на своей койке в твиндеке и замер, опустив ноги, и они повисли, как у той лилипуточки.

– Такие-то дела, корешок! – проговорил сосед с нижней койки. – Отмочил козу, так отмочил. Остаться на берегу и на судне никого не предупредить! Разные я козы знавал, но с такой – впервые встречаюсь, честно тебе скажу.

И поинтересовался:

– Деда видел?

– Нет еще.

– Чифа видел?

– Тоже нет. Никого не видел.

– Увидишь!

Конечно, увижу, куда денешься! На сердце навалилось грядущее, такое грозное и огромное, что ощутил я себя – знаете кем? Ни за что не угадаете. Лилипуточкой той горестной ощутил я себя, и даже свисающими ногами своими покачивать стал, и все не выходило в такт с покачиванием койки и всего твиндека, так что пароход как бы в одну сторону двигался, а я совсем – совсем в другую.

Автор хочет обратить внимание публики на то обстоятельство, что, употребляя в том или ином случае местоимение «я», он имеет в виду своего лирического героя, а отнюдь не самого себя. Просто-напросто лирический герой размышляет точно так же, как и автор, и последний

попадает на удочку. Однако автор еще и еще раз заявляет: я – это не он. Мнения, высказываемые лирическим героем и некоторыми другими персонажами, не обязательно совпадают с мнением автора.

Договорились?

У художника есть время на размышления. Он много, но как бы бессмысленно работает мозгами, не решая конкретной жизненной задачи, точнее, бесконечного множества задач, подбрасываемых жизнью. И люди, с которыми случай сводил его, не думали так широко, как он, а очень конкретно.

И он начал размышлять о человеке, который едет с ним в электричке или же встречается на дороге и с которым он обменивается несколькими ничего не значащими – во всяком случае, для одного из них – словами.

Литература – это наличие времени для общих размышлений.

Книга должна быть гармоничной. И герой, и события – все чуть-чуть грустно, таинственно, многозначительно. Но главное – книга должна быть прекрасной! И чтобы никакая грязь не приставала, и чтобы в сумерках за деревьями прыгала кенгуру.

А было так.

Ехала специальная, нет – специализированная – туристическая группа в Стокгольм. Собралось двадцать – тридцать психиатров и невропатологов. Меня в их числе не было – не включили. Рассказывают, все приехали в международный аэропорт Шереметьево, Дима Карасик раздает всем заграничные паспорта. Подходит очередь одного старого уважаемого невропатолога. С русской фамилией. Он протягивает руку, а Карасик повертел – повертел перед его носом паспортом и говорит:

– Э, нет, Моисей Соломонович, сначала справочку, а уж потом – паспорт получите.

– Какую справочку? – спрашивает.

– Из районной поликлиники, что вы там не состоите на учете. Как псих.

– Глупости! Издевательство!

– Считайте, как хотите, а без справки паспорт не выдам. Отвечай потом за вас!

– Ну, хорошо, сейчас привезу. Да вы улетите без меня!

– Улетим, пренебреженно улетим!

– Что же делать?

– Не могу знать. Раньше нужно было думать.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Ан нет! Не так-то просто было М.С. обмишулить. Он побежал к начальнику аэропорта, нажал на все кнопки, все свои связи привел в действие, и – небывалый случай – получает начальник распоряжение сверху задержать рейс до особых указаний. Вот и Моисей Соломонович! Димка уже и сам не рад, что все это затеял. М.С. уехал в город, час нет, два нет, три нет! Все психуют, друг друга постукивают молоточками по коленкам. Наконец сам командир экипажа, летчик первого класса, не выдержал, схватил такси, помчался в поликлинику. Там уже работа кончается, пусто, темновато, только на стуле М.С. сидит пригорюнившись.

– Вы чего время тянете?

– Ну да, тяну!

– А что такое?

– Я, оказывается, у них в картотеке уже пятьдесят лет числюсь.

– Пять-де-сят?! Ах, ты, сукин кот! В порт не приехал, не сообщил! Мы там все изнервничались, хоть бы позвонил на худой конец!

– Стыдно-то как...

Словом, меня быстро оформили, и – в Стокгольм. А там уже встречает целая толпа репортеров.

Мы думали, Карасика встречают его друзья по международным отношениям, ихние стукачи, а оказалось – меня. Я там широко известен своими работами по чтению в человеческих душах, о которых и сам позабыл. В студенческие годы кое-что публиковал, а к ним просачивалось. Ну, главный психолог мира, и – пошло-поехало: Лиссабон, Винница («Что – Ницца?») да, конечно, Ницца, оговорился, проше пани, Дакар, Лаос, Филиппины, Улан-Удэ. (Что вы говорите? Может быть Улан-Батор?) А? Верно, снова оговорка – Улан-Батор. Да ладно, курица не птица, Монголия не заграница!

Сначала роман выстраивался как пирамида. У основания – широко, а на вершине – одно лишь событие, краткое впечатление от посещения футбольного поля в лесу. Потом решал (но так, правда, и не решил) писать по принципу многоцветной печати. Сначала целиком всю картину в одной краске, потом ту же картину, но уже в другой краске, и так далее. В результате изображения, накладываясь одно на другое, совместятся и дадут многоцветную картину.

Теоретически все очень просто, да вот как на практике это осуществить!

Чтобы быть писателем, размышлял он, вовсе не обязательно жить самому. Жить должен герой. Страдать, скучать, совершать поступки. Как пример, случай с будкой айсора. (Герой с пьяных глаз нанял грузовик с краном и ночью переставил будку чистильщика на соседнюю улицу.) Поступок? Настоящий поступок, достойный кисти художника Айвазовского. Не из тех, что имеет в виду его приятельница (ей не нашлось места в этой книге), говоря, что труднее всего приступить к совершению поступков по утрам. Умыться, например, почистить зубы и так далее.

Интересно, думал он, считает ли она поступком половой акт, в результате которого ребенка зачала?

Да, так я говорил, что дом этот не сумасшедший, больные все-таки выздоравливают и выходят. Для примера возьмем пациента из отдельного бокса под номером сто семнадцать. Вспомните-ка, какой у Катюшкиного бокса номер, а? Правильно, сто восемнадцатый. То есть речь идет о соседнем боксе. Так вот, упомянутый постоялец сбрендил, дай Бог памяти, четверть века назад, когда две бомбочки хлопнулись в Японии. Одна разрушила Хиросиму, другая – Нагасаки. Он был десятиклассник, круглый отличник, многообещающий математик и физик-теоретик. Он вдумался в формулу ядерного взрыва, представил себе после короткого размышления картину мира в недалеком будущем и – очутился в этой лечебнице. Она только-только открылась, так что мальчик был встречен – лучше не придумаешь! Тогда тетя Клава была лет на двадцать – тридцать моложе, работы у неё было немного, и она частенько беседовала с тем парнишкой. Теперь он уже превратился в солидного, откормленного, спокойного, в меру веселого господина, к моменту выписки нашедшего себе невесту Галочку, тети Клавину помощницу по уборке этажа и уходу за больными. (Двадцать лег, глаза карие, волосы черные, рост средний, вернее, маленький, характер уживчивый и ревнивый, адью!)

Леша, его так звали, как и полагается в этой больнице, сразу же навалился на жратву, только подноси. Бездетная тетя Клава (она уже и тогда была бездетная) приносила ему в марлечке пирожки домашней выпечки, и друг Леша сминал их, урча и обливаясь слюной. Сквозь бурчание тётя Клава ловила неразборчиво произнесенные слова – Фррранция, Соединенные Штаты Амерррики, Великобррритания. Насытившись, он обращал к тете Клаве разжиревшее лицо и, обливаясь от приступов смеха слюнями, пророчествовал:

– Бомбочки везде тирлим-бомбом. – Игра пальцами на губах. – Жжжжж, бух-бух!!!

– Где ж – бух? А? Войны-то нет, кончилась война-матушка, а ты – «бух-бух». Малахольный!

– О, нет! Бух-бух!!!

Эти разговоры очень волновали, будоражили тетю Клаву, особенно когда она выглядывала во двор из окна своей комнатки на четвертом этаже. Кирпичный дом напротив превращен

бомбежкой в гору битого кирпича, щебенки и глины, и через развалины протоптаны тропинки, чтобы ближе идти на рынок.

Фу-ты, нуты! Стоял себе дом, а он, оказывается, не на том месте поставлен был – мешал проходу. Теперь не мешает. Что ни говори, нет худа без добра...

От этой мысли тетю Клаву начинали трясти рыдания. Остатки кирпичной стены с ржавой железной арматурой, освещенные божеским вечерним светом, все в летнем золоте и красноте, вызывали в ее памяти Лешку-психа. Она размышляла над его сумасшествием, и для нее кое-что начинало проясняться. Например, если перечисленные великие державы плюс к ним Советский Союз будут обладать этим смертоносным оружием, тогда – о-го-го!

«Дурак, дурак, а умный!» – с уважением думала тетя Клава.

Теперь вот прошли годы, все, чего наш рёхнутый боялся, свершилось, бомбочки отцепляются в воздухе и падают на землю без всякой войны, а так, от головоутиательства, чудом не взрываются (а может быть, где-нибудь и взрываются), заражают материки и океаны. Так что Алексей со своей невестой Галочкой выписывался из больницы в предсказанный им мир, словно бы все эти годы выжидал взаперти, пока человечество в своем психозе его догонит.

Дождлся, наконец, через четверть века.

Я такой разговор застал между тетей Клавой, Галочкой и бывшим сумасшедшим.

– Ты его береги, следи за ним, – наставляла тетя Клава свою молодую помощницу. – Он мужчина видный, самостоятельный, любит поесть.

– Ой, тетя Клава! У нас любовь, а вы – про еду!

– Любовь любовью, а путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

За многолетнюю практику в лечебнице для душевнобольных тетя Клава много узнала подобных жизненных мудростей.

– Да, Галочка, ты тетю Клаву слушай, она молодец! Она – замечательный молодец! – проговорил с душевным подъемом Б.С. (бывший сумасшедший) и, подталкивая невесту в спину, выпроводил её из коротенького темного коридорчика, закутка с двумя дверьми в боксы сто восемнадцатый и сто семнадцатый.

Мы втроем остались в полутьме, и Леша, не обращая на меня внимания, сказал проникновенно:

– Тетя Клавочка, роднуличка! Это я для вас припас!

Подняв одно плечо и опустив другое, он залез во внутренний карман своего просторного замшевого пиджака с шерстяным воротником поверх основного, чтобы от шеи не засалилась замша, достал большой бумажник и вытащил из него сторублевку.

– Берите, лапушка, не стесняйтесь, это вам за все!

– Спасибо, соколик! Отойти-ка от света, посмотрю, что ты мне такое презентуешь.

– Смотри, бабка, смотри.

Он отошел в сторону, и бумажка в руках тети Клавы осветилась.

Тетя Клава с удивлением уставилась на Лешу:

– Э, милок, сторублевка-то – старая, послевоенная, еще до девальвации.

– Не знаю, не знаю. Бери без разговоров, других у меня нету!

– Извините, сто восемнадцатую комнату мне не откроете? – вступил я в разговор.

– Да-да, открою!

Тетя Клава полезла в карман, задрав полу своего белого халата, согнулась над скважиной, слабо светящейся в полутьме, и щелкнула замком. Дверь медленно раскрылась, и я увидел Мисс Мир.

Едем дальше.

Родители нашего лирического героя с жалостью, раздражением, нежностью, иногда со страстной любовью смотрели на сына. Временами казалось, что все отлично. Это случалось,

когда выходила, например, очередная книжка. Но порой они впадали в уныние, даже в беспросветный ужас: что за существо такое произвели они на свет Божий!

Чего же он хочет и хочет ли чего-нибудь!

У С...вых, по крайней мере, сынок в прямом смысле ненормальный – хотя и окончил школу с золотой медалью и проявлял большие способности к научному мышлению, а у них – черте что! Тот хоть был в школе все десять лет отличником, есть от чего свихнуться. А наш – странный какой-то сумасшедший...

Все перепуталось – вымысел и правда, реальные события и – картины, являющиеся плодом воображения. Пребывание в Стране Высоких Гор представляет собой мешочек сахара, смешанного с солью, и неизвестно, как эти два вещества друг от друга отделить и что есть правда – сахар или соль.

Большой жук сантиметров пяти с рогатой головкой пса-рыцаря, сидящий на суконном склоне, в реальности которого невозможно усомниться, на самом-то деле являлся оленем, находящимся от моего глаза километрах в десяти. Но воздух столь прозрачен здесь, в этой сказочной Пади Голубого Неба, что зрение не способно уловить истинного расстояния – что метр, что десять километров.

Нашу большую умную машину, ведомую стариком в новых валенках и ватной шапке с опущенными ушами, по ночам каждый раз за полверсты от кордона встречала красная лисонька. Она огненной змейкой извивалась, вспыхивая в лучах фар, и исчезала в ночном пространстве, словно бы померещилась.

В действительности же она вовсе не исчезала, а бежала на заставу по одной ей известной тропке, кое-где переходящей в извилистые тоннели, и там сообщала, что машина приближается. Охранник выходил из нетопленной, но все же какой-никакой, а будочки, сбрасывал превратившуюся от стужи в дерево веревочную петлю, и полосатая палка шлагбаума поднималась, точно стрелка какого-то диковинного прибора, указывающего на наличие напряжения или давления. А лисонька, встав тоненькими и аккуратными ножками в розовых штанишках на сиденье венского стула, а передние лапки, столь же аккуратные, положив на изогнутую дугой спинку, смотрела из томной будки сквозь морозное стекло нам вослед.

Я с трудом различал ее, скорее угадывал, освещенную звездным светом.

Ведь лиса точно была, и сторожа предупреждала, в этом нет сомнений, а все вместе почему-то кажется игрой воображения.

Датчик, коим является художник, может быть неточным прибором, с отклонениями, вызываемыми разными причинами, думал он. Например, неумеренным потреблением спиртного. Мозг, отравленный алкоголем, чудовищно преломляет, думал он, реальную действительность, то есть то самое вещество, сигналы, о состоянии которого обязан подавать художник. Но что он подаст, ежели испорчен? И почему, собственно говоря, обязан?!

Впрочем, произведений, созданных алкоголиками, очень много, их легко отличить от прочих. Допустим, если герой, встретив по ходу действия друга, врага (ненужное зачеркнуть), ни за что, ни про что принимает стаканчик водки и этот факт не оказывает никакого влияния на дальнейшее развитие событий, гарантия: автор – алкоголик.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.